



Роберт Льюис СТИВЕНСОН
Фанни Ван де Грифт СТИВЕНСОН

**Приключения
трех джентльменов**

Новые сказки «Тысячи и одной ночи»

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Роберт Льюис Стивенсон

**Приключения трех
джентльменов. Новые сказки
«Тысячи и одной ночи»**

«Азбука-Аттикус»

1885

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Стивенсон Р.

Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи» / Р. Стивенсон — «Азбука-Аттикус», 1885 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-23666-0

Роберт Льюис Стивенсон – известный английский писатель, автор таких произведений, как «Остров Сокровищ», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и многих других, – вошел в историю литературы как тонкий стилист и мастер психологического портрета. Большой популярностью пользовались его рассказы о приключениях принца Флоризеля Богемского. В 1878 году были опубликованы истории о «Клубе самоубийц» и об «Алмазе Раджи», созданные в витиеватой манере восточных сказок, а спустя семь лет на свет появилось своеобразное продолжение – «Самые новые сказки „Тысячи и одной ночи“», созданные Стивенсоном в соавторстве с женой, Фанни Стивенсон, и получившие восторженные отзывы читателей. В книге рассказана история трех праздных джентльменов, решивших в ближайшую же ночь пережить невероятное приключение и устроить свою судьбу в загадочном Лондоне, этом «Багдаде Запада, городе нечаянных свиданий». И судьба идет им навстречу: вскоре каждый из них оказывается замешанным в необъяснимых, но смертельно опасных интригах... Тексты печатаются в новом, блестящем переводе Веры Николаевны Ахтырской.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-23666-0

© Стивенсон Р., 1885
© Азбука-Аттикус, 1885

Содержание

Примечание для читателя	8
Пролог в табачной лавке	9
Приключение Чаллонера	14
Дамский угодник	14
История об Ангеле Смерти	20
Дамский угодник (окончание)	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Роберт Льюис Стивенсон, Фанни Ван де Грифт Стивенсон Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи»

Robert Louis
STEVENSON

1850–1894

Fanny Van de Grift
STEVENSON

1840–1914

MORE NEW ARABIAN NIGHTS: THE DYNAMITER

© В. Н. Ахтырская, перевод, примечания, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

*Мистеру Коулу и мистеру Коксу,
стражам порядка*

Джентльмены,

в книге, которую вы сейчас держите в руках, затронута тема гнусного преступления, того самого, что вы предотвратили, проявив беспримерное мужество и снискав себе славу¹. Писать о нем со всей серьезностью означало бы попусту тратить чернила. Преисполняться ужаса надлежит при мысли о злодеяниях, вдохновленных чувствами более сложными, когда преступление сохраняет некоторые черты благородства и когда разум, доброта и сострадание, не в силах противиться искушению, готовы хотя бы отчасти оправдать содеянное. В данном случае с ужасом следует взирать на мистера Парнелла: он предстанет перед судом потомков, безмолвствуя, тогда как обвинения из уст мистера Форстера будут звучать в веках². С ужасом следует нам обратить взор на самих себя, ибо мы до сих пор заигрывали с политическими преступлениями, не давая им серьезной оценки, не устанавливая пронизательно их причин и неизбежных последствий, но испытывая к ним великодушие, ни на чем не основанное

¹ 24 января 1885 года констебль Уильям Коул во время полицейского дежурства обнаружил в Вестминстерском дворце, где располагаются залы заседаний британского парламента и проводятся многочисленные экскурсии, саквояж со взрывчаткой, как затем оказалось, подложенный ирландскими террористами-фениями. Рискуя собой, Коул попытался вынести начиненный динамитом саквояж из переполненного в этот час здания. На помощь Коулу храбро бросился его напарник, констебль Кокс. Саквояж взорвался у них в руках, оба они получили тяжелые ранения, однако жертв удалось избежать. – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Британский политик Уильям Эдвард Форстер, в 1880–1882 годах занимавший пост министра по делам Ирландии, публично обвинил на заседании парламента лидера ирландских националистов Чарльза Стюарта Парнелла в причастности к террористическим актам и политическим убийствам, совершенным фениями; впоследствии Парнелл был оправдан, обвинения в его адрес признаны безосновательными.

восторженное сочувствие, под стать школьнику, увлеченно, с детским восхищением следящему за перипетиями сюжета дешевой, низкопробной «страшной» повести. Но когда политические преступления коснулись нас самих, обнаружив свое поистине мерзкое, низменное обличье, мы тотчас же отреклись от своих прежних фантазий и осознали, что преступление нисколько не утрачивает жестокости и гнусности, даже приняв пышное, благозвучное имя, и отвергли прежде боготворимых идолов.

Однако серьезность как нельзя более уместна в разговоре о наших защитниках. Кто бы ни был прав в хаосе этой великой войны политических партий и течений, какими бы алчными мотивами, угрозами или запугиванием ни запятнали себя обе стороны этого бесчеловечного соперничества, – по крайней мере, ваша сторона, ваша роль не подлежит никаким сомнениям. На вашей стороне ребенок, женщина-мать, сочувствие отдельного человека и доверие большинства. Даже если бы наше общество превратилось в сущее царство дьявола (а найдется немало тех, кто и вправду присягнул ему на верность), оно пока не лишилось многих своих достойных черт, в нем същется много невинных, защищать которых – обязанность возвышенная и славная. Мужество и беззаветная преданность своему делу, столь часто присущие стражам порядка, столь редко признаваемые, столь скудно вознаграждаемые, наконец-то были увековечены героическим поступком, который войдет в историю. В памяти британцев мистер Парнелл навеки запечатлется безмолвно внимающим обвинениям мистера Форстера, а Гордон³ – отправляющимся исполнить свою последнюю, трагическую миссию, но также британцы не забудут ни мистера Коула, голыми руками несущего динамит, ни мистера Кокса, бесстрашно бросающегося ему на помощь.
Роберт Льюис Стивенсон,
Фанни Ван де Грифт Стивенсон

³ Знаменитый британский генерал Чарльз Джордж Гордон в 1885 году попытался вывести из осажденной мятежниками столицы Судана Хартума войско египтян – союзников Великобритании и эвакуировать находящихся там европейцев, осознавая, что его задача невыполнима, а сам он обречен. Неоднократно мужественно отказывался бросить на произвол судьбы вверенных ему солдат и гражданских лиц и уйти из Хартума. Погиб от рук повстанцев – религиозных фанатиков при штурме города.

Примечание для читателя

Вполне возможно, что вы взяли за эту книгу, не будучи знакомым с ее предшественницей – первой частью «Приключений принца Флоризеля». Тем хуже для вас и для меня, а точнее, для моих издателей. Но если вам и вправду так не посчастливилось, самое малое, что я могу для вас сделать, – это намекнуть на одну деталь. Когда на страницах этой книги вам встретится упоминание о некоем Теофилусе Годоле, владельце «Богемской табачной лавки» на Руперт-стрит, в Сохо, будьте готовы узнать в нем самого принца Флоризеля, в прошлом одного из европейских монархов, ныне низложенного, изгнанного, разоренного и избравшего своим ремеслом табачную торговлю.

Р. Л. С.

Пролог в табачной лавке

В городе нечаянных свиданий, в этом Багдаде Запада, или, точнее, на широко раскинувшейся мощенной камнем площади Лестер-сквер двое молодых людей лет двадцати пяти – двадцати шести встретились после долгой разлуки. Один из них, отличавшийся весьма изысканными манерами и одетый по последней моде, тотчас же узнал своего приятеля, исхудалого, в поношенном костюме.

– Кого я вижу! – воскликнул он. – Пол Сомерсет!

– Я точно Пол Сомерсет, – отвечал другой, – или, по крайней мере, то, что осталось от него после заслуженных испытаний бедностью и судебными разбирательствами. Однако вы, Чаллонер, нисколько не изменились; можно сказать без всякого преувеличения: «Десница времени морщин не провела / на синей глади твоего чела»⁴.

– Не все золото, что блестит, – возразил Чаллонер. – Но мы выбрали весьма неудачное место для доверительных признаний и не даем пройти этим леди. Давайте, с вашего позволения, найдем уголок поукромнее.

– Разрешите мне проводить вас, – отвечал Сомерсет, – и я смогу предложить вам лучшую сигару в Лондоне.

И с этими словами, взяв своего приятеля под руку, он молча, быстрым шагом, отвел его к дверям неприметного заведения на Руперт-стрит, в Сохо. Вход в него украшала одна из тех гигантских деревянных фигур шотландского горца, что уже обрели едва ли не статус почтенных древностей, а на витрине, где был выставлен обычный набор курительных трубок, табака и сигар, виднелась надпись золотыми буквами: «Богемская табачная лавка Т. Годола». Помещение лавка занимала небольшое, но уютное и богато убранное; их встретил хозяин заведения, серьезный, улыбчивый и чрезвычайно учтивый, и молодые люди, попыхивая изысканными регалиями, вскоре расположились на плюсовом, мышиного цвета, диване и продолжили разговор.

– Теперь я барристер⁵, – поведал Сомерсет, – но Провидение и атторней⁶ до сих пор лишали меня возможности показать себя в полном блеске. Вечера я проводил в избранном обществе, собирающемся в трактире «Чеширский сыр»; дни мои, как может засвидетельствовать мистер Годол, проходили по большей части на этом диване, а утра свои я из предосторожности взял привычку сокращать, не просыпаясь до полудня. Такими темпами я очень быстро и, с гордостью припоминаю, не без приятности промотал свое наследство. С тех пор некий джентльмен, единственное достоинство которого заключается в том, что он приходится мне дядей с материнской стороны, выдает мне небольшую сумму, по десять шиллингов в неделю; и если вы вновь когда-нибудь увидите, как я праздно фланирую, разглядывая уличные фонари в своем любимом квартале, то без труда догадаетесь, что я получил состояние.

– Кто бы мог подумать, – протянул Чаллонер. – Но я, несомненно, повстречал вас, когда вы шли к своим портным.

– Визит к ним я намеренно откладываю, – с улыбкой проговорил Сомерсет. – Мое состояние весьма ограничено. Оно равняется, или, по крайней мере, этим утром равнялось, ста фунтам.

⁴ В оригинале обыгрываются строки поэмы Джорджа Гордона Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» («Childe Harold's Pilgrimage», 1812–1818), изображающие безмятежное море («Time writes no wrinkle on Thine azure brow – / Such as Creation's dawn beheld, Thou rollest now» (IV, st. 182); «Время не проведет ни единой морщины на твоём лазурном челе – / Ты и теперь катишь свои волны, такое же, как на рассвете мироздания»).

⁵ *Барристер* (англ. barrister) – адвокат, имеющий право выступать в высших судах Великобритании, член одного из так называемых судебных иннов, т. е. адвокатских корпораций.

⁶ *Атторней* (англ. attorney) – поверенный, доверенное лицо, представляющее интересы своего клиента в суде.

– Не удивительно ли, – поразился Чаллонер, – что за странное совпадение! Я и сам доволен едва ли не до крайности и располагаю точно такой же суммой!

– Вы?! – воскликнул Сомерсет. – И однако, царь Соломон во славе своей...

– Увы, с этим приходится мириться. Признаюсь, я на мели, приятель, – сказал Чаллонер. – Кроме той одежды, что сейчас на мне, в моем гардеробе не сыщется даже одних приличных штанов, и, если бы знал как, я тотчас же поступил бы куда-нибудь на службу или занялся коммерцией. Имея сто фунтов капитала, мужчина не может не добиться чего-то в жизни.

– Пожалуй, и так, – откликнулся Сомерсет, – но что мне делать с моей сотней – ума не приложу. Мистер Годол, – добавил он, обращаясь к хозяину лавки, – вы повидали мир: что молодой человек, получивший солидное образование, может сделать с сотней фунтов?

– Смотря по обстоятельствам, – отвечал торговец, вынимая изо рта манильскую сигару. – «Признавай власть денег» – заповедь, совершенно мне чуждая; тут я объявляю себя скептиком. На сотню фунтов вы с трудом проживете год, с несколько большим трудом истратите ее за ночь и без всяких усилий потеряете за пять минут на Лондонской фондовой бирже. Если вы принадлежите к числу тех, кто борется с судьбой, то столь же полезен, как и сотня фунтов, вам будет пенс, а если вы из тех, кто прозябает, сетуя на судьбу, то пенс у вас в руках окажется столь же бесполезен, как и сотня фунтов. Когда сам я внезапно обнаружил, что остался в жестоком мире один, без денег, помощи и поддержки, мне посчастливилось вспомнить, что я владею одним искусством, а именно умею отличить хорошую сигару. Вы обладаете хоть какими-нибудь знаниями, мистер Сомерсет?

– Не знаю даже законов, – откликнулся тот.

– Ответ, достойный мудреца, – констатировал мистер Годол. – А вы, сэр? – продолжал он, обращаясь к Чаллонеру. – Могу ли я, как друг мистера Сомерсета, задать вам тот же вопрос?

– Что ж, – проговорил Чаллонер, – я недурно играю в вист.

– Сколько сыщется в Лондоне людей, – сказал торговец, – у которых тридцать два зуба? Поверьте, молодой джентльмен, тех, кто недурно играет в вист, в Лондоне найдется еще больше. Вист, сэр, распространен чрезвычайно широко; умение играть в вист – достижение невеликое, сродни способности дышать. Однажды я познакомился с юнцом, который объявил мне, что усердно изучает науки, готовясь стать лорд-канцлером Англии; весьма честолобивое намерение, несомненно, однако оно несколько уступает замыслу человека, мечтающего зарабатывать на жизнь игрой в вист.

– Боже мой, – произнес Чаллонер, – боюсь, мне придется унизиться до того, чтобы найти службу.

– Унизиться до того, чтобы найти службу? – повторил мистер Годол. – Неужели, если благочинного лишат сана, он унижится, заняв пост майора? Неужели, если армейского капитана уволят со службы, он унижится, вступив в должность рядового судьи? Я не устаю удивляться наивности вашего среднего класса. Он полагает, будто вне его пределов царят всеобщее невежество, грубость и упадок нравов, поражающие всех без разбору, однако на взгляд внимательного наблюдателя все сословия образуют отчетливую, стройную иерархию, каждое звено которой обладает собственными похвальными способностями и знаниями. В силу недостатков вашего образования вы не более способны сделаться простым служащим, чем правителем империи. У ваших ног, сэр, разверзлась бездна, а истинно учеными, требующими подлинного искусства профессиями, единственными, на какие не в силах еще притязать самодовольный дилетант, остаются ремесленные.

– Какой же он напыщенный и высокопарный, – прошептал Чаллонер на ухо своему приятелю.

– Да уж, он неподражаем, – прошептал в ответ Сомерсет.

В эту минуту дверь лавки отворилась, вошел третий молодой человек и довольно робко спросил табака. Он был моложе остальных и отличался какой-то неброской, неповторимо английской пригожестью. Получив свой табак, он закурил трубку и, усевшись на диван, отрекомендовался Чаллонеру, назвавшись Десборо.

– Что ж, Десборо, – осведомился Чаллонер, – вы где-нибудь служите?

– Сказать по правде, – отозвался Десборо, – я решительно ничем не занимаюсь.

– Выходит, у вас есть собственное состояние? – поинтересовался его собеседник.

– Нет, – довольно мрачно отвечал Десборо. – Признаться, я все жду, не подвернется ли какой-нибудь шанс.

– Значит, мы все в одной лодке! – воскликнул Чаллонер. – Может быть, у вас тоже есть всего сто фунтов?

– И того нет, – сказал мистер Десборо.

– Какое жалкое зрелище, мистер Годол, – подвел итог Сомерсет, – трое никчемных юнцов.

– Никчемные юнцы – характерное порождение этого суетливого и пустого века, – изрек торговец.

– Сэр, – возразил Сомерсет, – не соглашусь с вами, что век наш суетливый и пустой, признаю всего один непреложный факт: что я никчемен, он никчемен и что все мы трое совершенно никчемны. На что я гожусь? Я лишь самым поверхностным образом изучил начатки юриспруденции, изящной словесности, географии, математики и имею некоторые практические познания в судебной астрологии; и вот лондонская жизнь с ревом пронесется мимо меня в конце этой улицы, а я стою беспомощный, как младенец. Я испытываю безграничное презрение к своему дяде, но стоит ли отрицать, что без него я просто распадусь на отдельные элементы, словно нестойкий химический состав? Я начинаю понимать, что необходимо досконально знать хоть что-нибудь, пусть даже литературу. И все же, сэр, отличительная примета этой эпохи – светский человек; он обладает множеством самых разнообразных знаний, он повсюду чувствует себя как дома, он видел жизнь во всех ее проявлениях, и не может же привычка к подобному существованию не принести какие-нибудь плоды. Я полагаю себя светским человеком, получившим утонченное образование и воспитание, талантливым *sap-à-pie*⁷. А вы, мистер Десборо?

– Да-да, – откликнулся означенный молодой человек.

– Что ж, мистер Годол, вот перед вами три светских человека, не имеющих на троих ни единой службы, ремесла или какого-либо полезного занятия, однако заброшенных волею судьбы в стратегический центр Вселенной (вы ведь позволите мне именовать так Руперт-стрит?), в самое средоточие людского океана, в пределах слышимости самого непрерывного звона монет, какой только оглашал поверхность Земли. Сэр, что же делать нам, цивилизованным людям? Я покажу вам. Вы выписываете какую-нибудь газету?

– Я выписываю, – торжественно изрек мистер Годол, – лучшую газету на свете, «Стандард».

– Отлично, – резюмировал Сомерсет. – Сейчас я держу ее в руках, и что же она такое, как не глас целого мира, телефон, без конца оповещающий о нуждах и потребностях людских? Я открываю ее, и на что же упадет первым мой взгляд – нет, не на рекламу пилюль Моррисона, – а, да, конечно, вот то, что я искал, здесь и чуть выше, вот где ахиллесова пята, слабое место, прореха в доспехах общества... Вот призыв о помощи, вот завуалированная жалоба на несправедливость, вот благодарность, готовая принять осязаемую, материальную форму: «Две сотни фунтов вознаграждения. Означенная сумма будет выплачена тому, кто сообщит любые сведения о личности и местонахождении человека, замеченного вчера в окрестностях Грин-парка.

⁷ Здесь: с головы до ног; во всем (*фр.*).

На вид он более шести футов ростом, с чрезвычайно широкими плечами, коротко стрижен, с черными усами, носит котиковую шубу». Вот как мы если не сделаем состояние, джентльмены, то по крайней мере заложим основы своего будущего достатка.

– Дружище, вы предлагаете нам сделаться сыщиками? – осведомился Чаллонер.

– Нет, сэр, это не я предлагаю нам сделаться сыщиками, – воскликнул Сомерсет. – Это сама судьба, сам ход вещей, само мирозданье повелевает нам избрать подобное поприще. Здесь мы сможем применить все свои таланты, здесь пригодятся наши манеры, привычка к светскому обращению, умение вести беседу, гигантский запас отрывочных знаний – все наши достоинства и сильные стороны в совокупности являют набор свойств, необходимых как воздух совершенному, идеальному сыщику. Коротко говоря, это единственная профессия, которая пристала джентльмену.

– Напрасно вы старались нас увлечь столь красноречиво, – ответил Чаллонер, – ведь до сего дня я пребывал в убеждении, что из всех грязных, подлых, недостойных джентльмена занятий это – самое низменное и ничтожное.

– Но как же защита общества? – возразил Сомерсет. – Готовность рисковать собственной жизнью ради других? Искоренять тайное, могущественное зло? Я обращаюсь к мистеру Годолу. Уж он-то, по крайней мере, философический наблюдатель жизни, отвергнет такие мещанские взгляды. Он знает, что страж порядка, поскольку обстоятельства неизменно вынуждают его противостоять превосходящим силам, будучи к тому же хуже вооруженным и руководствующимся более достойными мотивами, и внешне, и по сути своей благороднее солдата. Кстати, уж не обманываете ли вы самого себя, полагая, будто генерал будет требовать или ожидать от лучшей армии, которой он когда-либо командовал, и во время самой решающей битвы, поведения обычного констебля на Пекхем-Рай?⁸

– Я и не предполагал, что нам предстоит вступить в ряды полиции, – сказал Чаллонер.

– Это ни к чему. Я говорил о руках, а нам надлежит сделаться головой, сэр! – воскликнул Сомерсет. – Итак, решено! Мы выследим этого злодея в котиковой шубе.

– Допустим, мы согласны, – ответил Чаллонер, – но у вас нет плана, нет знаний, вам невдомек, с чего начать.

– Чаллонер! – воскликнул Сомерсет. – Неужели вы придерживаетесь учения о свободе воли? Неужели вы столь лишены склонности к философским размышлениям, что продолжаете разделять давно изжившие себя заблуждения? Земной суетой повелевает Случай, слепой бог язычников, и на него единого я уповаю. Случай свел нас вместе; затем, когда мы распрощаемся и каждый двинется своим путем, Случай будет непрестанно открывать нашему беззаботному взору тысячи убедительных ключей к разгадке не только этой, но и иных бесчисленных тайн, окружающих нас ежедневно. Вот тут-то и вступает в игру светский человек, прирожденный и развивший свои способности сыщик. На этот ключ к разгадке преступления, который целый город даже не замечает, сыщик бросается с кошачьей быстротой, завладевает им, опираясь на него, ведет расследование увлеченно и искусно и по одному ничтожному обстоятельству восстанавливает всю картину преступления.

– Именно так, – произнес Чаллонер, – и я в восторге оттого, что вы открыли в себе столь похвальные качества. Но пока, старина, признаюсь, я не в силах к вам присоединиться. Я не родился сыщиком и не развивал в себе способности детектива, мне выпал жребий кроткого,

⁸ Здесь арабский автор помещает одно из своих отступлений. Видимо опасаясь, что несколько эксцентричные взгляды мистера Сомерсета бросят тень на истинную роль стражей порядка, он призывает англичан с благодарностью вспомнить о совершенных полицейскими подвигах, об их героических деяниях, оставшихся незамеченными, обо всех случаях, когда они, выполняя свой служебный долг, бесстрашно вступали в борьбу с превосходящим их численно и лучше вооруженным противником, когда они зачастую в одиночку бросали вызов преступникам. Арабский автор напоминает о том, сколь скучно вознаграждается служба в полиции, не приносящая стражам порядка ни денег, ни славы. Как представляется переводчикам, здесь он касается вопросов слишком серьезных, чтобы всесторонне обсудить и исчерпать их на страницах этой книги. – *Примеч. автора.*

незлобивого и мучимого жаждой джентльмена, и сейчас мне очень хочется выпить. Если же говорить о ключах к разгадке тайн и о приключениях, то единственное приключение, которое скорее всего меня ожидает, – это встреча с судебным приставом.

– Какой самообман! – воскликнул Сомерсет. – Теперь-то я разгадал секрет вашей никчемности. Мир просто переполняет приключения, приключения теснят вас, не давая пройти по улице, вам призывно машут из окон, к вам бросаются авантюристы, клянущиеся, что познакомились с вами когда-то за границей, вас окликают всевозможные любезные и сомнительные личности, льстиво и подобоострастно умоляя их заметить. Но вы не удостоиваете их и взглядом: вы отворачиваетесь, вы погружаетесь в свою привычную рутину, вы ходите и ходите по установленному кругу, избрав самый скучный образ жизни. Послушайте, прошу вас, примите с распростертыми объятиями первое же приключение, какое только попадется вам на пути, каким бы оно ни было, подозрительным или романтическим, не упустите свой шанс. Я поступлю точно так же, и, чем бы нам это ни грозило, мы по крайней мере позабавимся, и каждый в свою очередь поведаст историю своих удач и разочарований моему философическому другу, владельцу табачной лавки, великому Годолу, теперь внимающему мне с затаенной радостью. Ну же, по рукам? Обещаете ли вы воспользоваться первым представившимся шансом очертя голову броситься в любой омут и, сохраняя бдительность и хладнокровие, внимательно и вдумчиво наблюдать и изучать происходящее? Ну же, обещайте мне, и я посвящу вас в тайны профессии, как никакая иная требующей хитрости, изворотливости и коварства.

– Мне это не очень-то по вкусу, – сказал Чаллонер, – но так и быть, если вы настаиваете, я согласен, аминь.

– Обещать-то я пообещаю, – посетовал Десборо, – да только ничего необычного со мной не случится.

– О маловеры! – воскликнул Сомерсет. – Что ж, по крайней мере я заручился вашими обещаниями, а Годол, по-моему, вне себя от восторга.

– Я льщу себя надеждой, что ваши рассказы окажутся разнообразными, интересными и увлекательными, – проговорил торговец со своим обычным безукоризненно-светским спокойствием.

– А теперь, джентльмены, – заключил Сомерсет, – нам пора прощаться. Спешу отдаться на милость случая. Вслушайтесь, как доносится в этот тихой уголок лондонский шум, подобный гулу далекой битвы; здесь теснятся четыре миллиона судеб, и под защитой надежных «доспехов» – ста фунтов на предъявителя – я готов броситься в гущу этого боя.

Приключение Чаллонера

Дамский угодник

Мистер Эдвард Чаллонер обосновался в лондонском пригороде Патни, где занимал две меблированные комнаты, гостиную и спальню, и пользовался искренним уважением других жильцов дома. В этот отдаленный приют он и направлялся на следующее утро, в очень ранний час, и обречен был совершить длительную прогулку. Был он молодым человеком весьма плотного телосложения, физических усилий не любил, отличался спокойным нравом, медлительностью и неторопливостью и потому мог считаться приверженцем и опорой такого изобретения человечества, как омнибус. Во дни более счастливые он взял бы кеб, однако подобную роскошь ныне не мог себе позволить и оттого, собрав все свое мужество, отправился в путь пешком.

Происходило это в разгар лета, погода стояла ясная и безоблачная, и пока он шагал мимо домов с закрытыми ставнями, вдоль пустых улиц, рассветная прохлада сменилась теплом, а июльское солнце ярко засияло над городом. Сначала он шел, целиком погруженный в свои мысли, с горечью перебирая в памяти все неудачные ходы, сделанные накануне во время игры в вист, и раскаиваясь в собственной опрометчивости, но, по мере того как он углублялся в лабиринт улочек юго-запада, слух его постепенно привыкал к царящей вокруг тишине, пока наконец безмолвие не поглотило его совершенно. Улица за улицей глядели на его одинокую фигуру, дом за домом откликались на его шаги гулким, призракным эхом, лавка за лавкой встречали его наглухо закрытыми витринами и надписями, возвещавшими продажу того или иного товара, а он тем временем шел и шел своим путем, под сверкающим небосводом, сквозь этот лагерь спящих при свете дня, одинокий, словно корабль в море.

«Да уж, – размышлял он, – будь я похож на своего легкомысленного, ветреного приятеля, то в такой обстановке точно стал бы искать приключений. Сейчас, белым утром, улицы столь же таинственны, как в самую темную январскую ночь, а посреди четырех миллионов спящих пустынь, как леса Юкатана. Стоило бы мне всего лишь закричать, как я призвал бы к себе сонм лондонцев, числом не уступающий целому войску, однако в могиле царит безмолвие не более глубокое, чем в этом городе сна».

Все еще предаваясь своим странным и мрачным размышлениям, он вышел на улицу, застроенную более пестро и разнообразно, чем было принято в этом квартале. С одной стороны, здесь иногда попадались, обнесенные стенами и полускрытые зелеными деревьями, маленькие и изящные виллы, на каковые благопристойность обыкновенно смотрит косо. С другой стороны, здесь немало встречалось и облицованных кирпичом бараков для бедных, а кое-где виднелась то гипсовая корова, служащая опознавательным знаком молочной лавки, то объявление, предлагающее услуги гладилицы. Перед одним таким домом, стоявшим несколько поодаль среди защищенных стенами садов, играла с пучком соломы одинокая кошка, и Чаллонер на миг остановился полюбоваться этим изящным, гибким созданием, символом царившей в округе безмятежности и мира. Ничто, кроме его собственных шагов, не нарушало мертвую тишину; нигде не поднимался над крышами столб дыма; ставни везде были затворены, весь механизм жизни, казалось, остановился, и Чаллонеру чудилось, будто он слышит дыхание спящих.

Вдруг его мечтательные раздумья прервал глухой, раскатистый взрыв, донесшийся откуда-то из дома. Тотчас после него раздалось шипенье и свист, словно на огне заклокотал кипящий котел размером с собор Святого Павла, и в тот же миг из каждой дверной и оконной щели стали просачиваться струйки зловонного дыма. Кошка с мяуканьем исчезла. Изнутри донесся топот, кто-то сбегал вниз по лестнице, дверь распахнулась, из дверного проема пова-

лил густой дым, и двое мужчин и одна элегантно одетая леди, едва не падая с ног, вырвались на улицу и бросились бежать без единого слова. Шипенье и свист уже смолкли, клубы дыма уже рассеивались, все произошло так быстро, что казалось сном, а Чаллонер все еще стоял на тротуаре, точно окаменев. Наконец он очнулся и в ужасе, с совершенно несвойственной ему энергией, кинулся наутек.

Постепенно первый испуг прошел, первый порыв ослабел, и он вновь, как было ему свойственно, зашагал размеренной походкой, потрясенный и недоумевающий, пытаясь найти какое-то объяснение тому, что только что увидел и услышал. Однако взрыв, шипенье и свист, внезапно так потрясшие его вместе со смрадом, а также странное появление этих троих, вырвавшихся из дома, а затем исчезнувших, – все это были тайны, разрешить которые он не мог. Исполненный ему самому непонятного страха, он мысленно все возвращался к только что пережитому, тем временем снова петляя по узким улочкам в полном одиночестве, в лучах утреннего солнца.

Стремясь как можно быстрее удалиться от сцены, где разыгрались загадочные и зловещие события, он поначалу бежал наугад и совершенно заблудился, и теперь, двигаясь примерно на запад, сумел выйти на скромную улицу, которая вскоре расширилась, уступив место полосе садов. Здесь раздавался птичий щебет, здесь, даже в этот час, царила благодатная тень, здесь самый воздух не отдавал гарью, как это обычно бывает в больших городах, а благоухал сельской свежестью и чистотой, и Чаллонер шел и шел, не поднимая глаз от мостовой, все размышляя о таинственном происшествии, пока вдруг не уперся в стену и поневоле не остановился. Улица, название которой я запомнил, оказалась тупиком.

Он был не первым, кто забрел сюда этим утром ведь, не спеша оторвав взгляд от мостовой, он различил фигуру девушки, в которой с глубоким удивлением узнал одну из тройки странных утренних беглецов. Она явно забрела сюда, не разбирая дороги, стена не дала ей двинуться дальше, и, совершенно обессиленная, она опустилась на землю у садовых перил, запятнав платье июльской пылью. Они одновременно устремили взоры друг на друга, и она, едва увидев его, с ужасом вскочила на ноги и кинулась было прочь.

Чаллонер был вдвойне потрясен, снова встретив героиню своего приключения и заметив, с каким страхом она от него отшатнулась. Жалость и тревога едва ли не в равной мере овладели им, но, невзирая на эти чувства, он осознал, что обречен последовать за леди. Он двинулся за нею не без опаски, боясь еще более испугать ее, но, как ни старался он ступать как можно легче, его шаги гулко разносились по пустой улице, выдавая его намерение. Казалось, это всколыхнуло в душе ее какие-то сильные чувства, ведь, едва заслышав их, она замерла. Потом снова бросилась было в бегство и снова остановилась. Затем она обернулась и, боязливо и нерешительно, с выражением самой привлекательной робости на лице, приблизилась к молодому человеку. Он в свою очередь по-прежнему подступал к ней, выказывая такую же тревогу и застенчивость. Наконец, когда их разделяло всего несколько шагов, он заметил, как глаза ее наполнились слезами, и она протянула к нему руки, горячо моля о заступничестве.

– Точно ли вы англичанин и джентльмен? – воскликнула она.

Злополучный Чаллонер воззрился на нее с ужасом. Он был воплощением галантности и сгорел бы от стыда, если бы его уличили в невежливости по отношению к какой-нибудь даме, но, с другой стороны, он избегал любовных приключений. Он в отчаянии обвел глазами окрестности, но дома, ставшие невольными свидетелями этой беседы, были сплошь неумолимо и безжалостно закрыты, и он понял, что, хотя дело и происходит при ярком солнечном свете, помощи ему ждать неоткуда. Наконец он вновь обратил взор свой на просительницу. Он с раздражением отметил, что она обладает изящной фигурой и прелестными чертами, что на ней элегантно платье и перчатки, что она несомненно леди, олицетворение беспомощной, невинной барышни, попавшей в беду, плачущей и потерянной в этом городе, еще не пробудившемся от утреннего сна.

– Сударыня, – произнес он, – уверяю, у вас нет никаких причин опасаться домогательств, и, если вам показалось, что я преследую вас, виной тому – тупиковая улица, которая завела сюда нас обоих.

На лице барышни изобразилось явное облегчение.

– Как же я не догадалась! – вырвалось у нее. – Позвольте от всего сердца поблагодарить вас! Но в этот час, в этой отвратительной тишине, под невидящими взглядами этих домов с захлопнутыми ставнями, меня снедает ужас, я вне себя! – воскликнула она, при этих словах побледнев от страха. – Проводите меня, позвольте мне опереться на вашу руку, прошу вас! – добавила она самым убедительным, самым умоляющим тоном. – Я не решаюсь идти одна, я не найду в себе довольно смелости, я пережила потрясение, ах, что за потрясение! Молю вас, проводите меня!

– Сударыня, – неловко ответил Чаллонер, – я к вашим услугам.

Она взяла его под руку, на миг прижавшись к ней и борясь с подступающими рыданиями, а в следующее мгновение с лихорадочной быстротой повела его в сторону города. И хотя многое оставалось неясным, одно было очевидно: страх ее охватил истинный, непритворный. И все-таки по пути она то боязливо оглядывалась, словно ожидая появления какой-то опасности, то содрогалась, словно сотрясаемая лихорадкой, то судорожно сжимала его руку в своей. Чаллонера ее ужас одновременно и отталкивал, и затягивал, точно в омут: ужас постепенно овладевал им, подчинял себе, вместе с тем внушая отвращение, и в душе Чаллонер возопил, возжаждав освобождения.

– Сударыня! – наконец не выдержал он. – Разумеется, я рад помочь любой даме, но, признаюсь, мне нужно совсем в другую сторону, не туда, куда вы меня ведете, и если бы вы сооблаговолили объяснить...

– Тише! – зарыдала она. – Только не здесь, не здесь!

Кровь застыла у Чаллонера в жилах. Он готов был принять барышню за умалишенную, но в памяти его еще живы были куда более зловещие и страшные воспоминания, а при мысли о взрыве, клубах дыма и бегстве пестрой троицы он терялся совершенно, не в силах разгадать тайну. Так они молча петляли и петляли по лабиринту узеньких улочек, словно, осознавая собственную вину, бежали от справедливого возмездия, и оба трепетали от непередаваемого ужаса. Однако через некоторое время, более всего ободряемые быстротой ходьбы, они несколько воспрянули духом, барышня перестала боязливо оглядываться, а Чаллонер, осмелев при виде показавшегося вдали констебля, шаги которого по мостовой отдавались гулким эхом, возобновил атаку с большей прямоотой и решительностью.

– Мне показалось, – проговорил он непринужденно-светским тоном, – будто я видел, как вы выходите из дверей какой-то виллы в сопровождении двоих джентльменов.

– Нет, – откликнулась она, – не бойтесь оскорбить меня, сказав правду. Вы видели, как я убегаю из обычных меблированных комнат, а мои спутники были вовсе не джентльмены. В подобном случае лучший комплимент – это честность.

– Мне показалось, – продолжал Чаллонер, одновременно воодушевленный и удивленный искренностью и прямоотой ее ответа, – что я, кроме того, ощутил какой-то странный запах. А еще слышал шум – не знаю, с чем бы его сравнить...

– Тише! – приказала она. – Вы и сами не знаете, какой опасности подвергаете нас обоих. Подождите, подождите немного: как только мы уйдем с этих улиц туда, где нас не смогут подслушать, все разъяснится. А пока не упоминайте об этом. Какое же зрелище являет собой спящий город! – воскликнула она дрожащим голосом. – «И город спит. Еще прохожих мало, – процитировала она, – и в Сердце мощном царствует покой»⁹.

⁹ Приводится фрагмент стихотворения Уильяма Вордсворта «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 года». Перевод В. Левики.

– Выходит, сударыня, – сказал он, – вы хорошо знаете литературу.

– И не только литературу, – отвечала она со вздохом. – Я девица, обреченная мыслить не по возрасту серьезно, а судьба моя столь незадачлива, что эта прогулка под руку с незнакомцем представляется мне чем-то вроде краткого затишья между грозами.

К этому времени они добрались до окрестностей вокзала Виктория, и здесь, на углу, юная леди остановилась, отпустила его руку и огляделась с выражением неловкости и нерешительности. Потом, чудесно изменившись в лице и положив ручку в перчатке ему на руку, она произнесла:

– Боюсь даже помыслить, что вы уже обо мне думаете, и, однако, вынуждена обречь себя на роль еще более предосудительную. Здесь я должна оставить вас, и здесь я умоляю вас дожидаться моего возвращения. Не пытайтесь преследовать меня или шпионить за мною. Воздержитесь пока от любых суждений о девице, столь же невинной, сколь ваша собственная сестра, и, ради всего святого, не оставляйте меня. Хотя мы и незнакомы, мне более не к кому обратиться. Вы видите, в каком страхе и в какой скорби я пребываю; вы джентльмен, великодушный и смелый, и если я попрошу вас на несколько минут набраться терпения, то заранее уверена, что вы не откажете мне.

Чаллонер нехотя пообещал, и барышня, бросив на него благодарный взгляд, скрылась за углом. Надо сказать, что ее аргументы не совсем достигли цели, ведь у молодого человека не было не только сестер, но и никаких родственников ближе двоюродной бабушки, жившей в Уэльсе. Кроме того, теперь, когда он остался в одиночестве, чары ее, которым он до сего покорялся безраздельно, стали рассеиваться; отринув с насмешкой свою прежнюю рыцарственность и преисполнившись мятежного духа, он бросился вдогонку. Читатель, если ему случалось примерять на себя славное амплуа ночного гуляки, наверняка знает, что по соседству с крупными железнодорожными вокзалами располагаются таверны, которые открываются очень рано. Вот в такой-то таверне, прямо на глазах у Чаллонера, как раз выходившего из-за угла, и исчезла его очаровательная спутница. Сказать, что он был удивлен, было бы неточно, ведь с этим чувством он давным-давно распрощался. Его охватили невыносимое отвращение и разочарование; мысленно он обрушил поток ругательств на свою чаровницу, оказавшуюся всего-навсего вульгарной обманщицей. Не успела она пробыть в заведении и секунду, как вращающиеся двери его распахнулись снова, и она появилась в компании молодого человека плебейского вида, неуклюжего и грубого. Несколько минут они оживленно переговаривались; потом увалень, толкнув дверь плечом, снова скрылся в пивной, а барышня, уже не размеренным, а весьма быстрым шагом, опять направилась в сторону Чаллонера. Он смотрел, как она приближается, грациозная и изящная, как иногда мелькает, показавшись из-под платья, ее лодыжка, с какой быстротой и девической легкостью она спешит к нему, и, хотя он до сих пор лелеял некоторые мысли о бегстве, по мере того, как расстояние между ним и юной леди сокращалось, поползновения эти самым жалким образом ослабевали. Перед одной лишь красотой он смог бы устоять; решимости струсить и бежать Чаллонера лишили ее несомненные претензии на благородство и светскость. Встретившись с опытной авантюристкой, он без колебаний поступил бы так, как полагал себя вправе, но, не в силах вовсе отказать своей новой знакомой в порядочности, признал себя побежденным. На том самом углу, откуда он тайком шпионил, наблюдая странную сцену с ее участием, и где до сих пор стоял, словно приросши к месту, она столкнулась с ним и, густо покраснев, воскликнула:

– Ах! Как малодушно с вашей стороны!

Столь резкий упрек отчасти вернул дамскому угоднику утраченное самообладание.

– Сударыня, – возразил он, выказывая немалую меру стойкости и отваги, – думаю, до сих пор я не давал вам повода обвинять меня в малодушии. Я с готовностью подчинился вашему желанию сопровождать вас и прошел с вами едва ли не полгорода, и если теперь прошу избе-

вить меня от обязанностей защищать вас, то рядом с вами – ваши друзья, которые с радостью меня заменят.

Она на мгновение замерла.

– Что ж, хорошо, – проговорила она. – Ступайте, ступайте, и да поможет мне Бог! Вы видели, как я, невинная девица, спасаюсь от страшной катастрофы и как меня преследуют коварные злодеи, и ни жалость, ни любопытство, ни честь не побудили вас дожидаться моих объяснений или помочь мне в моих несчастьях. Ступайте! – повторила она. – Воистину, я погибла!

И, в отчаянии всплеснув руками, она бросилась бежать.

Чаллонер глядел, как она удаляется и исчезает из поля зрения, и почти невыносимое чувство вины боролось в душе его с растущим ощущением, что его обманывают. Не успела она скрыться из виду, как первое из этих чувств возобладало; он решил, что был к ней несправедлив и что повел себя с нею, обнаружив совершенно непростительное малодушие и черствость, ведь самый звук ее голоса, манера выражаться, изящная благопристойность ее движений свидетельствовали о полученном воспитании, не давая повода истолковать ее поступки нелестным для нее образом, и потому, испытывая одновременно раскаяние и любопытство, он медленно двинулся за нею следом. На углу он снова заметил ее. Теперь она уже не спешила, а с каждой минутой замедляла шаг, словно подбитая в полете птичка. У него на глазах она вытянула руку, точно пытаясь за что-то удержаться, и в изнеможении припала к стене. Зрелище ее страданий сломило сопротивление Чаллонера. В несколько шагов он догнал ее и, впервые сняв шляпу, в самых трогательных выражениях уверил ее в совершенном почтении и твердом намерении помочь. Поначалу она словно бы не слышала обращенные к ней речи, но постепенно, казалось, стала постигать их смысл; она чуть шевельнулась, выпрямилась и, наконец сменив гнев на милость, порывисто обернулась к молодому человеку лицом, на котором читались одновременно упрек и благодарность.

– Сударыня! – воскликнул он. – Располагайте мною, как вам заблагорассудится!

И он снова, но на сей раз всячески демонстрируя уважение, предложил проводить ее. Она оперлась на его руку со вздохом, от которого сердце его невольно дрогнуло, и они вновь двинулись по пустынным улицам. Но теперь каждый шаг, казалось, давался ей с все большим трудом, словно вспышка негодования совсем измучила ее; она все сильнее опиралась на его руку, а он, словно голубь, прикрывающий своего птенца крыльями, нежно склонялся над своей поникшей подопечной. Ее физическая изнеможенность не сопровождалась упадком духа, и, вскоре услышав, что его спутница вновь заговорила игривым, чарующим тоном, он не мог не надивиться ее внутренней гибкости и способности противостоять обстоятельствам. «Я хочу забыться, – произнесла она, – забыться хотя бы на полчаса!» – и точно, с этими словами, казалось, забыла о своих горестях. Перед каждым домом она останавливалась, придумывала имя его владельца и кратко обрисовывала его нрав и положение в обществе: здесь жил старый генерал, за которого ей предстояло выйти пятого числа следующего месяца, тут стоял особняк богатой вдовы, равнодушной к Чаллонеру, и, хотя она по-прежнему тяжело опиралась на руку молодого человека, ее грудной, приятный смех улаждал его слух. «Ах, – вздохнула она, объясняя свое поведение, – в такой жизни, как моя, нельзя упускать ни минуты счастья!»

Когда они, двигаясь в такой неторопливой манере, добрались до начала Гросвенор-плейс, ворота Гайд-парка как раз отворялись, и растрепанную и запачканную толпу ночных гуляк впускали в этот рай, полный приветных лужаек. Чаллонер и его спутница влились в общий поток и какое-то время молча шли посреди этого разношерстного, оборванного сброда; однако, по мере того как один за другим оборванцы, устав от ночных скитаний, опускались на скамьи или исчезали на укромных дорожках, широко раскинувшийся парк вскоре поглотил последнего из этих непрощенных гостей, и парочка осталась в одиночестве с благодарностью наслаждаться утренней тишиной и покоем.

Вскоре они набрели на скамейку, стоявшую у всех на виду на дерновом холме. Молодая леди огляделась с облегчением.

– Как хорошо, – проговорила она, – здесь по крайней мере нас не подслушают. Выходит, здесь вы узнаете и оцените мою историю. Мне невыносима мысль о том, что мы могли бы расстаться, а вы полагали бы, что понапрасну удостоили вашей доброты и благородства ту, кто их не заслужила.

Тотчас после этого она опустилась на скамью и, жестом велев Чаллонеру сесть поближе, начала излагать историю своей жизни в следующих словах, выказывая великое удовольствие.

История об Ангеле Смерти

Отец мой был уроженцем Англии, сыном младшего брата великого, древнего, но не титулованного семейства и в силу каких-то обстоятельств, совершенного проступка или превратностей судьбы, вынужден был бежать из родных краев и отринуть имя своих предков. Он избрал своей новой родиной Соединенные Штаты и, не пожелав задерживаться в больших городах с их утонченностью, изнеженностью и сибаритством, предпочел немедленно двинуться на таинственный Дикий Запад вместе с разведывательной партией переселенцев-колонистов, решивших обосноваться на «фронтире». Он был необычным путешественником, ибо не только отличался смелостью и предприимчивостью, но и обладал знаниями во многих областях, прежде всего в ботанике, которую особенно любил. Потому-то не стоит удивляться, что спустя всего несколько месяцев сам Фримонт¹⁰, формальный глава отряда, стал искать его совета и считаться с его мнением.

Как я уже сказала, они двинулись на до сих пор неведомые земли Дикого Запада. Какое-то время они шли вдоль колеи, оставленной караванами мормонов, и указателями пути в этой огромной, печальной пустыне служили им скелеты людей и животных. Потом они немного отклонились к северу и, утратив даже эти мрачные и зловещие путеводные знаки, оказались в краю, где царила совершенная, гнетущая тишина. Мой отец часто, в подробностях рассказывал об этом гибельном странствии: его отряду попадались одни только скалы, утесы, голые камни да бесплодные пустоши, сменявшие друг друга; ручьи и речки встречались лишь изредка, и ни зверь, ни птица не нарушали тягостного безмолвия. На четвертый день запасы их настолько истощились, что решено было объявить привал, разойтись во все стороны и попытаться добыть хоть какую-то дичь. Разложили большой костер, чтобы дым его созывал охотников в лагерь, и каждый участник экспедиции вскочил на коня и отправился на вылазку в лежащую окрест пустыню.

Мой отец скакал много часов вдоль гряды отвесных утесов, черных и страшных, подступавших к его тропе с одной стороны, и безводной долины, сплошь испещренной валунами и напоминавшей развалины какого-то древнего города, с другой. Наконец он набрел на след какого-то крупного животного и, судя по отметкам когтей и клочкам шерсти, оставленным на колючем кустарнике, заключил, что это американский коричневый медведь необычайных размеров. Он дал шпоры своему коню и, продолжая преследовать добычу, выехал к водоразделу двух рек. За образовавшим этот водораздел горным кряжем простирался причудливый непроезжий ландшафт, пестревший валунами и кое-где оживляемый редкими соснами, возвещавшими близость воды. Потому отец привязал здесь лошадь и, полагаясь на свое верное ружье, пеший устремился в дикую, безвестную пустошь.

Вскоре среди царящего вокруг безмолвия он различил где-то справа шум текущей воды и, выглянув из-за горного гребня, был вознагражден представшей перед ним сценой, в которой чудо природы непостижимым образом сочеталось со зрелищем человеческого несчастья. Журчание воды доносилось от ручья, со дна узкого, извилистого ущелья, по отвесным, едва ли не гладким стенам которого на протяжении целых миль человек не мог бы выбраться. Превращаясь в полноводную реку во время дождей, ручей этот, верно, наполнял все ущелье от одного скалистого берега до другого, солнечные лучи проникали туда только в полдень, а ветер в этой узкой и сырой «воронке» дул ураганный. И однако, на дне этой лощины, прямо внизу, взору моего отца, заглянувшего за гребень утеса, открылось печальное зрелище: примерно с полсотни мужчин, женщин и детей лежали, рассеявшись по берегу, кое-как устроившись среди

¹⁰ Фримонт Джон Чарльз (англ. John Charles Fremont; 1813–1890) – известный американский исследователь Дикого Запада, путешественник, военный и политический деятель.

камней. Некоторые распростерлись на спине, иные вытянулись на земле ничком, никто из них не шевелился, и, насколько мой отец мог заметить, все обращенные к нему лица казались чрезвычайно бледными и изможденными, и время от времени сквозь журчанье ручья слуха моего отца достигал тихий стон.

Пока он разглядывал эту сцену, какой-то старик, пошатываясь, поднялся на ноги, снял с себя одеяло, которым прикрывался, и с нежностью закутал им девушку, сидевшую, прислонясь спиной к жесткому утесу. Казалось, девушка не заметила этого самоотверженного поступка, а старик, поглядев на нее с трогательной жалостью, вернулся на свое прежнее ложе и улегся на траву, ничем не укрытый. Однако эта сцена не осталась незамеченной даже в этом лагере умирающих от голода. На самой окраине привала человек с белоснежной бородой, по-видимому преклонных лет, стал на колени, тихонько, стараясь не разбудить остальных спящих, дополз до девушки и – трусливый злодей, – к неопишущему негодованию моего отца, совлек с нее оба покрывала и вернулся с ними на свое место. Здесь он лежал какое-то время, устроившись под несправедливо добытыми одеялами, и, как показалось отцу, притворялся спящим, но вдруг приподнялся на локте, окинул зорким взглядом своих спутников, быстро засунул руку за пазуху и положил что-то в рот. Судя по тому, как задвигались его челюсти, он что-то жевал; в лагере, где царил голод, он сохранил запасы еды и, пока его спутники лежали в забытии, сломленные приближением смерти, тайно восстанавливал силы.

Отец мой пришел в такую ярость, что вскинул было ружье, и впоследствии объявлял, что, если бы не случай, застрелил бы мерзавца на месте. Тогда я поведала бы вам совсем другую историю! Но мести его не суждено было свершиться: не успел он прицелиться, как заметил медведя, крадущегося вдоль уступа несколько ниже того места, где он притаился; и он, уступая охотничьему инстинкту, разрядил ружье не в человека, а в зверя. Медведь судорожно рванулся в сторону и упал в речную заводь; выстрел эхом прокатился по каньону, и уже спустя миг весь лагерь был на ногах. Издавая почти нечеловеческие крики, спотыкаясь, падая, отталкивая друг друга, мучимые голодом странники бросились на добычу, и, пока мой отец по уступу спускался к ручью, многие уже утоляли свой голод сырым мясом, а более брезгливые принялись разводить костер.

Его появление поначалу никто не заметил. Он стоял посреди этих едва держащихся на ногах, мертвенно-бледных марионеток, его оглушали их крики, однако их внимание было всецело приковано к медвежьей туше; даже те, кто слишком ослабел и не в силах был подняться, лежали, повернувшись лицом к вожаемому зрелищу, не сводя глаз с разделываемого медведя, и мой отец, стоя, словно невидимый, среди этих мрачных суесящихся призраков, чуть было не расплакался. Кто-то дотронулся до его плеча, и это вернуло его к действительности. Обернувшись, он лицом к лицу столкнулся со стариком, которого чуть было не убил, и спустя минуту понял, что перед ним не старик, а человек в расцвете лет, с волевым, выразительным и умным лицом, отмеченным следами усталости и голода. Он поманил моего отца под сень утеса и здесь, едва слышным шепотом, стараясь не возбудить подозрений своих спутников, умолял дать ему бренди. Мой отец взглянул на него с презрением. «Вы напомнили мне, – произнес он, – о моей обязанности. Вот моя фляжка: полагаю, в ней достанет бренди, чтобы привести в чувство всех женщин вашего отряда, а начну я с той, кого вы прямо у меня на глазах лишили одеял». И с этими словами, не обращая внимания на его мольбы, отец повернулся спиной к эгоисту.

Девушка все еще полулежала, привалившись спиной к утесу; она уже настолько погрузилась в глубокий сон, преддверие смерти, что не замечала царившую вокруг ее ложа суету, но, когда мой отец приподнял ее голову, поднес к ее губам фляжку и заставил ее или помог ей проглотить несколько капель живительной влаги, она открыла усталые, измученные глаза и слабо улыбнулась ему. Мир не знал улыбки более трогательной в своей прелести, глаз более глубокой фиалковой голубизны, более искренних, отражающих всякое движение души! В этом

я уверена твердо, ведь именно эти глаза улыбались мне, когда я лежала в колыбели. Оставив ту, кому суждено было стать впоследствии его женой, провожаемый завистливым взглядом седобородого, который к тому же не отставал от него ни на шаг, мой отец обошел всех женщин отряда, влив в рот каждой хоть несколько капель бренди, а остатки разделил между мужчинами, нуждавшимися в том более прочих.

– Неужели ничего больше не осталось? Неужели мне не достанется ни глотка? – спросил седобородый.

– Нет, не достанется, – отвечал мой отец, – а если захотите есть, советую вам поискать еды у себя в кармане.

– Ах! – воскликнул седобородый. – Вы судите обо мне превратно. Вы думаете, я из тех, кто цепляется за жизнь, движимый эгоизмом или страхом? Но позвольте сказать вам, если бы погиб весь караван, мир вздохнул бы с облегчением. Это не люди, а отбросы общества, мухи в человеческом обличье, кишачные в трущобах европейских городов, несносные и докучливые, я сам подобрал их в грязи и в скверне, нашел на навозной куче или у дверей пивной. И вы сравниваете их жизни с моей!

– Вы мормонский миссионер? – спросил мой отец.

– Что ж, – со странной улыбкой воскликнул седобородый, – если вам угодно, назовите меня мормонским миссионером! В моих глазах этот сан ничего не стоит. Если бы я был всего-навсего вероучителем, то безропотно умер бы вместе с остальными. Но я врач и могу открыть миру тайные знания и изменить будущее человечества, а значит, во что бы то ни стало должен был остаться в живых. Потому-то, когда мы разминулись с главным караваном, попытались срезать часть пути и забрели в это затерянное, бесплодное ущелье, мысль о неминуемой гибели истерзала мою душу, превратив мою прежде черную бороду в седую.

– И вы врач, – задумчиво произнес мой отец, глядя в лицо собеседнику, – которого клятва обязывает помогать попавшим в беду?

– Сэр, – отвечал мормон, – моя фамилия Грирсон; вы еще услышите обо мне и поймете, что я исполнял свой долг не перед этим сборищем нищих, а перед всем человечеством.

Мой отец обратился к остальным членам отряда, которые теперь достаточно пришли в себя, чтобы слушать и воспринимать его речь; он сказал им, что немедленно отправится к своим друзьям за помощью, и добавил:

– Если вам снова будет грозить голодная смерть, оглядитесь и увидите, что сама земля в изобилии дает вам пропитание. Вот, посмотрите, здесь, внизу, в трещинах этого утеса, растет желтый мох. Поверьте, он не просто съедобный, но и вкусный.

– Надо же! – воскликнул доктор Грирсон. – Вы знаете ботанику!

– Не я один, – парировал мой отец, понизив голос. – Видите, вот тут мох уже кто-то обобрал. Я не ошибся? Не вы ли запасли его себе на черный день?

Вернувшись к сигнальному огню, отец обнаружил, что товарищи его в тот день поохотились на славу. Тем легче было ему убедить их поделиться добычей с мормонским караваном, и на следующий день оба отряда двинулись к границам Юты. Расстояние, которое им предстояло преодолеть, было не столь уж велико, но следовали они по местности каменистой, испещренной оврагами и валунами, засушливой, да и добывать еду здесь было трудно, и потому странствие их растянулось почти на три недели, и у отца появилось довольно времени, чтобы хорошенько узнать и оценить спасенную им девушку. Я назову свою мать именем Люси. Упомянуть ее фамилию я не вправе; она вам, без сомнения, известна. Какая череда незаслуженных несчастий забросила эту невинную деву, истинное украшение своего пола, прелестную, получившую самое утонченное воспитание, обладающую благородством и изысканным вкусом, в ужасный караван мормонов, – тайна, которую я не могу вам открыть. Достаточно сказать, что, даже выдерживая эти удары судьбы, она нашла сердце, достойное ее собственного. Своей страстностью узы, связавшие моего отца и мою мать, возможно, были хотя бы отчасти обя-

заны странным, необычайным обстоятельствам их знакомства; их взаимное чувство не знало преград ни божественных, ни человеческих: ради нее мой отец решился оставить свои честолюбивые устремления и отринуть свою прежнюю веру, и не прошло и недели их совместного странствия, как мой отец покинул свой отряд, принял веру мормонов и получил обещание, что, когда караван прибудет к Большому Соленому озеру, ему будет отдана рука моей матери.

Мои родители вступили в брак, и на свет появилась я, их единственное дитя. Мой отец чрезвычайно преуспел в делах, всегда хранил верность моей матери, и, хотя вы можете мне не поверить, полагаю, в любой стране мало нашлось бы семейств более счастливых, чем то, в котором я увидела свет и выросла. Не стану скрывать, что, невзирая на наше благополучие, самые фанатичные и благочестивые из мормонов избегали нас как нетвердых в вере еретиков: впоследствии стало известно, что сам Янг¹¹, этот внушающий благоговейный трепет тиран, косо смотрел на богатства моего отца, но тогда я об этом не догадывалась. Я всецело покорялась мормонской доктрине, принимая ее с совершенной невинностью и доверием. У некоторых из наших друзей было по многу жен, но таков был обычай, и почему это должно было удивлять меня более, нежели само установление брака? Время от времени кто-то из наших богатых знакомцев исчезал, семейство его рассеивалось по миру, его жен и дома делили между собою старейшины мормонской церкви, а поминали о нем не иначе, как только затаив дыхание и со страхом качая головой. Когда я сидела тихо-тихо и о присутствии моем забывали, взрослые касались подобных тем, сидя вечером у огня; я словно до сих пор вижу, как они невольно ближе придвигаются друг к другу и испуганно оглядываются, а по их перешептываниям я могла заключить, что кто-то из наших единоверцев, богатый, почтенный, здоровый, в расцвете лет, кто-то, может быть, всего неделю тому назад качавший меня на коленях, чуть ли не мгновенно пропал из дому, из круга семьи, исчез, словно промелькнувшее в зеркале отражение, не оставив следа. Без сомнения, это было ужасно; но таковою представлялась мне и смерть, подчинявшая всех равно одному неумолимому закону. И даже если беседа становилась чуть громче и чуть несдержанней, даже если ее все чаще прерывало злое молчание и многозначительные безмолвные кивки и до меня долетали произнесенные шепотом слова «ангелы смерти», под силу ли было дитяти постичь эти тайны? Я слышала о них, подобно тому как иной, более счастливый, ребенок мог услышать в Англии о епископе или благочинном, – с таким же смутным почтением и не испытывая желания узнать о них более того, что мне уже известно. Жизнь повсюду, и в обществе, и в природе, основана на принципах довольно страшных: я видела опасные дороги, цветущий в пустыне сад, благочестивых прихожан, собравшихся в церкви на молебен; я осознавала, с какой нежностью лелеют меня родители и какими благами, невинными в своей приятности, они меня окружают; так зачем мне допытываться, какие жуткие, злое тайны лежат в основе, казалось бы, честного, нравственного существования.

Поначалу мы обосновались в городе, но, прожив там совсем недолго, перебрались в прекрасный дом в глубокой лесистой долине, оглашаемой мелодичным журчаньем ручья и почти со всех сторон окруженной раскинувшейся на двадцать миль гибельной, каменистой пустыней. От города нас отделяло тридцать миль; туда вела всего одна дорога, оканчивавшаяся у нашей двери; в остальном поблизости пролегли только верховые тропы, не проезжие зимой, и потому мы жили в одиночестве, которое европейцы не могли бы даже вообразить. Единственным нашим соседом был доктор Гирсон. На мой детский взгляд, от городских старейшин с бородами, оставленными только вдоль подбородка, с напояженными волосами, и от невзрачных, умственно неразвитых женщин, составлявших их гаремы, старый доктор, с его корректными манерами, умением держаться в обществе, негустыми белоснежными волосами и бородой и пронзительным взглядом, отличался весьма выгодно. Однако, хотя он был едва ли не

¹¹ Янг Бригем (англ. Brigham Young; 1801–1877) – второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (церкви мормонов), проповедник, религиозный и общественный деятель.

единственным гостем, бывавшим у нас в доме, я так никогда не смогла до конца избавиться от ощущения страха, охватывавшего меня в его присутствии, и тревогу эту питало то обстоятельство, что он жил в совершенном одиночестве и держал в строжайшей тайне свои занятия. Дом его отстоял от нашего всего на милю или две, но располагался в совсем ином месте. Он стоял, возвышаясь над дорогой, над отвесным обрывом, тесно прижавшись к гряде нависающих над ним утесов. Казалось, природа стремилась подражать здесь делам рук человеческих, ведь обрыв был совершенно гладким, ни дать ни взять передняя часть крепостного бруствера, а утесы имели равную высоту, словно бастионы средневекового замка. Даже весной этот печальный вид ничто не оживляло: окна по-прежнему выходили на равнину, покрытую белыми, как снег, солончаками, переходившими на севере в череду холодных каменистых кряжей, которые именуют в тех краях сьеррами. Помню, два или три раза мне случалось проходить мимо этого устрашающего жилища, и, заметив, что дом этот вечно стоит с закрытыми ставнями, что из трубы его не поднимается дым и что он кажется совершенно заброшенным, я сказала родителям, что когда-нибудь его непременно ограбят.

«Никогда! – откликнулся мой отец. – Не найдется вора, который осмелился бы туда проникнуть», – и в голосе его послышалась странная убежденность.

Наконец, незадолго до того, как на мою несчастную семью обрушился страшный удар, мне удалось увидеть дом доктора в новом свете. Отец мой занемог, мать не отлучалась от его постели, и мне разрешили отправиться, под присмотром нашего кучера, в уединенный дом примерно в двадцати милях от нас, где оставляли для нас посылки. Наша лошадь потеряла подкову, ночь застала нас на полпути к дому, и время клонилось уже к трем часам утра, когда мы с кучером, одни в легкой повозке, добрались до того участка дороги, что пролегал под окнами доктора. Ясная луна плыла по небу; скалы и горы в ее ярком свете казались особенно одинокими и пустынными; но докторский дом, расположенный наверху, над высоким обрывом, вплотную к нависшим утесам, не только сиял всеми своими окнами, словно пиршественный чертог, но окутывался клубами дыма из большой трубы на западной его оконечности, столь густыми и обильными, что они на протяжении миль висели, не рассеиваясь, в неподвижном ночном воздухе, а огромная тень их простиралась в лунном свете на поблескивающей поверхности солончака. Подъехав поближе, мы стали, кроме того, отчетливо различать в окрестной тишине равномерный вибрирующий звук. Поначалу он напомнил мне биение сердца, а затем перед моим внутренним взором предстал образ некоего великана, погребенного в толще гор и все же, с невероятным трудом, переводящего дыхание. Я слышала о железной дороге и, хотя и не видела ее, решила было спросить у кучера, не похоже ли это на шум поезда. Однако тут я заметила странное выражение, промелькнувшее в его глазах, и бледность, внезапно покрывшую его лицо то ли от страха, то ли от лунного света, и слова замерли у меня на устах. Поэтому мы поехали дальше в молчании, пока не поравнялись с ярко освещенным домом, как вдруг, без всякого предупреждающего шороха, раздался взрыв такой силы, что земля задрожала, а по горам прокатилось, оглашая утесы, громовое эхо. Столп янтарного пламени вырвался из трубы и опал, рассыпавшись мириадами искр, и тотчас же окна на миг озарились рубиновым светом, а затем погасли. Кучер невольно натянул поводья, сдерживая лошадь, а эхо все еще рокотало, отдаваясь от скал более далеких, как вдруг из погрузившегося теперь во тьму дома раздалось пронзительные вопли – мужские или женские, понять было невозможно, – дверь распахнулась, и в лунном свете наверху длинного склона из дома вырвалась какая-то фигура, вся в белом, и принялась плясать, подскакивать, бросаться ниц и кататься по земле, словно в муках. Тут я уже не смогла удержаться от крика, кучер принялся охаживать кнутом бока лошади, и мы стремглав полетели по неровной, ухабистой дороге с риском для жизни, и кучер не осадил лошадь, пока не повернул за гору и перед нами не показалось ранчо моего отца с его широко раскинувшимися зелеными рощами и садами, безмятежно спящими в лунном свете.

Это приключение оставалось единственным в моей жизни до тех пор, пока мой отец не достиг высот материального благополучия, а мне не исполнилось семнадцать лет. Я была по-прежнему невинна и весела, как дитя, ухаживала за своим садом и в простодушной радости резвилась на холмах, а если я и останавливала взор на своем отражении в зеркале или в каком-нибудь лесном ручье, то лишь для того, чтобы искать и узнавать в нем черты своих родителей. Однако страхами, столь долго угнетавшими других, была теперь омрачена и моя юность. Однажды, знойным пасмурным днем, я сидела на диване; открытые окна комнаты выходили на веранду, где моя мать расположилась с вышиванием, а когда к ней присоединился мой отец, пришедший из сада, то их беседа, которую я прекрасно могла расслышать, столь потрясла меня, что я словно приросла к месту, не в силах пошевелиться.

– Нас постигло несчастье, – после долгого молчания произнес отец.

Я услышала, как мать, пораженная, повернулась к нему, впрочем пока не проговорив ни слова.

– Да, – продолжал отец, – сегодня я получил список всего своего имущества, повторяю, всего – даже того, что я тайно одолжил людям, уста которых запечатаны ужасом, даже того, что я собственными руками зарыл в пустынных горах, где за мной не могли подсматривать даже птицы небесные. Неужели самый воздух переносит секреты? Неужели самые холмы делаются прозрачными? Неужели самые камни, на которые мы ступаем, сохраняют отпечатки наших ног, дабы затем выдать нас? О Люси, зачем прибыли мы в такую страну!

– Но в этом нет ничего нового и ничего особо опасного, – возразила моя мать. – Тебя обвинят в сокрытии доходов. В будущем тебе велят уплатить больше налогов да наложат на тебя денежное взысканье. Я не спорю, поневоле встревожишься, поняв, что за каждым твоим шагом неусыпно следят и узнают любые подробности твоей жизни, сколь бы ты ни тщился их скрыть. Но в чем же тут новость? Разве мы не боимся уже давно и не подозреваем в слежке каждую травинку?

– Да, мы боимся даже собственной тени! – воскликнул отец. – Но все это пустое. Прочти лучше письмо, которое прилагалось к списку.

До меня донесся шелест переворачиваемых страниц; потом моя мать на некоторое время замолчала.

– Понятно, – произнесла она наконец и продолжала, судя по всему, читая вслух послание: – «От верующего, коего Провидение столь обильно благословило земными дарами, церковь, при сохранении абсолютной тайны, ожидает выдающегося пожертвования, свидетельствующего о его благочестии». Так вот к чему они клонили? Разве я не права? Вот чего ты боишься?

– Вот именно, – отвечал отец. – Люси, ты помнишь Пристли? За два дня до своего исчезновения он привел меня на вершину одинокого холма; оттуда открывался вид на десять миль во все стороны света; уверен, если хоть где-то в этих краях можно было не опасаться соглядатаев и наушников, то именно там; но он поведал мне свою историю в приступе безумного, лихорадочного страха, и, охваченный ужасом, я ее выслушал. Он получил такое же письмо и спросил моего совета, как поступить; сам он решил передать церкви треть всего своего состояния. Я убеждал его, если жизнь дорога ему, увеличить размеры дара, и, до того как мы расстались, он удвоил пожертвование. Что ж, два дня спустя он исчез, пропал с главной улицы города в ясный полдень, и пропал бесследно. Боже мой! – воскликнул отец. – Посредством какого искусства уносят они в небытие крепкое, полное жизни тело? Какой смертью, не оставляющей следа, они повелевают? Как этот прочный остов, эти сильные руки, этот скелет, способный сохраняться в могиле веками, можно в один миг вырвать из вещественного, материального мира? Эта мысль внушает мне больший ужас, чем сама смерть.

– Нет ли надежды на Гирсона? – спросила мать.

– Забудь о нем, – отвечал отец. – Теперь он знает все, чему я могу его научить, и не станет спасать меня. Кроме того, возможности его ограничены, пожалуй, ему самому угрожает опасность не меньшая, чем мне, ведь он тоже живет особняком, пренебрегает своими женами и не следит за ними, его открыто обвиняют в безбожии, и если он не купит право на жизнь куда более страшной ценой... Но нет, я не хочу в это верить: я не люблю его, но не хочу в это верить.

– Верить во что? – спросила мать и внезапно изменившимся тоном воскликнула: – Ах, да не все ли равно? Авимелех, нам остается только бежать!

– Все тщетно, – возразил он. – Бросившись в бегство, я только навлеку на тебя печальную судьбу. Эту страну нам не покинуть, все безнадежно: мы заключены в ней, словно люди в собственной жизни, и выход из нее существует только один – в могилу.

– Что ж, тогда нам придется умереть, – отвечала мать. – Умрем же по крайней мере вместе. Мы с Асенефой не переживем тебя. Подумай только, на какой мрачный жребий мы будем обречены, если останемся в живых!

Отец мой не в силах был противиться ее нежному принуждению, и, хотя я понимала, что он не питает никаких надежд, он согласился бросить все свое имение, кроме нескольких сотен долларов, что были в то время у него при себе, и бежать этой же ночью, которая обещала выдаться темной и облачной. Как только слуги заснут, он нагрузит провизией двух мулов, еще на двух поедет мы с матерью и, отправившись через горы неезженной тропой, наша семья совершит отчаянную попытку вырваться на свободу. Как только они приняли это решение, я показалась у окна, и, признавшись, что слышала все до последнего слова, уверила их, что они могут положиться на мою осторожность и преданность. Я и вправду не испытывала никаких страхов и боялась только оказаться недостойной своего происхождения; я готова была расстаться с жизнью без трепета; и когда мой отец со слезами обнял меня, благословляя Небо, пославшее ему столь смелое дитя, я стала ожидать ночных опасностей с гордостью и радостью, подобно воину в преддверии битвы.

До полуночи, под мрачным, беззвездным небом, мы покинули долину с ее плантациями и вошли в один из каньонов, прорезающих холмы, узкий, изобилующий крупными валунами и оглашаемый ревом стремительного потока, бежавшего по его дну. Речные каскады один за другим грохотали, размахивая в ночи своим белым флагом, или низвергались с камней, на ветру обдавая наши лица брызгами. На этом пути нас повсюду подстерегала опасность сорваться вниз, а вел он в гибельные, бесплодные пустыни; тропу эту давным-давно забросили, предпочтя ей более удобные маршруты, и теперь она пролежала в местности, где годами не ступала нога человека. Можете представить себе наш ужас и отчаяние, когда, выйдя из-за скалы, мы внезапно увидели одинокий костер, ярко горящий под нависающим утесом, а на самом утесе – грубо изображенное углем огромное отверстие, символ мормонской веры. Мы беспомощно смотрели друг на друга в свете костра, моя мать, не сдержавшись, разрыдалась, но никто не произнес ни слова. Мы повернули мулов и, оставив великое око сторожить опустелый каньон, безмолвно отправились в обратный путь. Еще до рассвета мы вернулись домой, осужденные на казнь и не смеющие просить о пощаде.

Какой ответ дал мой отец старейшинам, мне не сказали; но спустя два дня, перед закатом, я увидела, как к нашему дому медленно подъезжает в облаке пыли всадник, человек по виду простой и невзрачный, но честный. Он был одет в домотканый сюртук и широкую соломенную шляпу и носил бороду, по обычаю патриархов; все обличало в нем простого крестьянина-фермера, и это вселило в меня некоторую уверенность в том, что не все потеряно. Воистину, он оказался честным человеком и благочестивым мормоном, ибо не испытывал радости от возложенного на него поручения, хотя ни он, ни кто бы то ни было в Юте не осмелились бы ослушаться; не без некоторой застенчивости отрекомендовавшись мистером Аспинволлом, он вошел в комнату, где собралось наше несчастное семейство. Мою мать и меня он неловко

отпустил и, едва оставшись наедине с моим отцом, предъявил ему бумагу, подписанную президентом Янгом и ожидавшуюся его собственной подписи, и предложил на выбор либо отправиться миссионером к диким племенам на берега Белого моря, либо на следующий же день в составе отряда Ангелов Смерти вырезать шестьдесят немецких иммигрантов. О втором варианте отец не мог даже помыслить, а первый счел пустой уловкой, ведь даже если бы он согласился оставить свою жену без всякой защиты и вербовать новые души в жертву тираническому режиму, который угнетал его самого, то был совершенно уверен, что ему никогда не позволят вернуться. Он отверг оба предложения, и Аспинволл, по его словам, выслушал его, обнаружив искреннее чувство: отчасти диктуемый религией страх при встрече с подобным неповиновением, отчасти простое человеческое сострадание моему отцу и его семье. Вестник умолял отца передумать и, наконец поняв, что не сможет его переубедить, дал ему времени до восхода луны уладить все свои дела и попрощаться с женой и дочерью. «Ведь тогда, и ни минутой позже, вам надлежит уехать со мной».

Не буду останавливаться подробно на последовавших затем часах; они пролетели слишком быстро, и вот уже луна взошла над восточной горной грядой, и мой отец вместе с мистером Аспинволлом бок о бок отправились в путь и исчезли в ночи. Моя мать, хотя и держалась с героической стойкостью, поспешила запереться в комнате, делить которую ей отныне было не с кем, а я, оставшись одна в темном доме, мучимая скорбью и опасениями, бросилась седлать своего индейского пони, чтобы поскорей добраться до уступа горы, откуда последний раз могла взглянуть на удаляющегося отца. Мой отец и его спутник выехали неспешным шагом, да и я, доскакав до своего наблюдательного пункта, отстала от них совсем ненамного. Тем более я была поражена, когда передо мною открылся совершенно пустынный ландшафт, не оживляемый ни единым существом. Луна, по народному речению, сияла как днем, и нигде под широко раскинувшимся ночным небосводом не различить было ни растущего дерева, ни куста, ни фермы, ни клочка крестьянского поля – никаких признаков человеческой жизни, кроме одного. С моего уступа можно было разглядеть стену зубчатых утесов, скрывавших дом доктора, и, пролетая прямо над этими выстроенными природой «крепостными бастионами», стлались и вились, уносимые нежным ночным ветерком, кольца черного дыма. Что же надо было сжигать, чтобы чад от сгоревшего вещества рассеивался в сухом воздухе столь медленно и неохотно, и какая печь могла исторгать подобный дым столь обильно – понять я была не в силах; однако я точно знала, что дым этот валит из докторской трубы; я видела совершенно отчетливо, что отец мой уже исчез, и, вопреки разуму, мысленно связывала утрату моего дорогого защитника со струями смрадного дыма, извивавшимися над горами.

Шли дни, а мы с матерью тщетно ждали вестей; пролетела неделя, еще одна, а мы так ничего и не узнали о муже и отце. Подобно развевавшемуся в небе дыму или промелькнувшему без следа в зеркале образу, за те десять или двадцать минут, что я седлала лошадь и скакала к горному уступу, этот сильный и смелый человек исчез из жизни. Надежда, если она у нас еще оставалась, таяла с каждым часом; теперь не было никаких сомнений, что самая ужасная участь постигла моего отца и ожидает его беззащитную семью. Не выказывая слабости, со спокойствием отчаяния, которым я не могу не восхищаться, вспоминая то время, готовились вдова и сирота встретить свою судьбу. В последний день третьей недели, проснувшись утром, мы обнаружили, что дом наш, да и, как выяснилось после поисков, все наше поместье опустело; все наши слуги, точно сговорившись, бежали, а поскольку мы знали, как они преданы нам и какую благодарность всегда к нам испытывали, то сделали из их бегства самые мрачные выводы. Впрочем, день прошел, подобно прочим, но к вечеру нас вызвал на веранду приближающийся стук копыт.

В сад верхом на индейском пони въехал доктор, спешил и поздоровался с нами. Казалось, он сгорбился и поседел за то время, что мы с ним не виделись, однако вел он себя сдержанно, смотрел серьезно и говорил с нами весьма любезно.

– Сударыня, – проговорил он, – я прибыл по важному делу и хотел бы, чтобы вы расценивали как проявление благожелательности со стороны президента то обстоятельство, что он избрал в качестве посланца вашего единственного соседа и старейшего друга вашего мужа в Юте.

– Сэр, – отвечала моя мать, – меня волнует только одно, только одно меня терзает. Вы хорошо знаете, о чем я говорю. Скажите мне: жив ли мой муж?

– Сударыня, – произнес доктор, вынося на веранду стул, – если бы вы были глупенькой девочкой, я бы и вправду не знал, куда деться от мучительной неловкости. Но вы взрослая женщина недюжинного ума и немалой храбрости; благодаря моей предусмотрительности вам было отпущено три недели, чтобы сделать собственные выводы и примириться с неизбежным. Полагаю, продолжать было бы излишне.

Моя мать побледнела как смерть и задрожала как тростинка; я протянула ей руку, она спрятала ее в складках платья, вцепилась в нее и сжимала до тех пор, пока мне не показалось, что я вот-вот закричу от боли.

– В таком случае, сэр, – произнесла она наконец, – считайте, что я вас не слышала. Если все так, как вы сказали, со всеми земными делами для меня покончено. Чего мне просить у Неба, кроме смерти?

– Перестаньте, – перебил ее доктор, – возьмите себя в руки. Умоляю, оставьте все мысли о вашем покойном муже и подумайте здраво о собственном будущем и о судьбе этой молодой девицы.

– Вы умоляете меня оставить все мысли... – начала была моя мать и тут же вскрикнула: – Выходит, вы знаете!

– Да, знаю, – подтвердил доктор.

– Вы знаете? – вырвалось у несчастной. – Так, значит, вы совершили это злодеяние! Я сорвала с вас маску и теперь с ужасом и с отвращением вижу, кто вы есть на самом деле: это вас бедный беглец зрит в кошмарах и пробуждается, вне себя от страха. Вы – Ангел Смерти!

– Да, сударыня, и что с того? – отвечал доктор. – Разве судьбы наши не схожи? Разве мы оба не заключены в неприступной темнице, каковую являет собой Юта? Разве вы не пробовали бежать и разве не прекратили этих попыток, когда отверстие око устремило на вас свой взор в том пустынном каньоне? Кому под силу ускользнуть от неусыпности этого недреманного ока Юты? Уж точно не мне. Не скрою, на меня были возложены ужасные обязанности, и самой неблагодарной из них оказалась последняя, но, если бы я отказался повиноваться, неужели это спасло бы вашего мужа? Вам прекрасно известно, что нет. Я погиб бы вместе с ним, да к тому же не смог бы облегчить его страдания в его последние минуты и избавить сегодня его семейство от кары, уготованной ему Бригемом Янгом.

– Ах! – воскликнула я. – И вы могли спасти свою жизнь, поступившись всеми заветами добра и человечности?

– Юная барышня, – прервал меня доктор, – я мог спасти и спас таким образом свою жизнь, а вы еще когда-нибудь будете благодарить меня за эту низость. Я с удовлетворением отмечаю, Асенефа, что вы не робкого десятка. Впрочем, мы теряем время. Как вы, несомненно, понимаете, имение мистера Фонбланка отойдет церкви, но часть его состояния предназначается тому, кто вступит в брак с его вдовой и дочерью, и человек этот, скажу вам без промедленья, – не кто иной, как я сам.

Услышав это гнусное предложение, мы с матерью громко вскрикнули, бросились друг другу на шею и прильнули друг к другу, словно две погибшие души.

– Все, как я и ожидал, – возобновил свою речь доктор тем же ровным и неторопливым тоном. – Эта договоренность внушает вам ужас и отвращение. Думаете, я стану убеждать вас? Вам прекрасно известно, что я никогда не придерживался мормонских взглядов на положение женщин. Всецело погруженный в свои многотрудные исследования, я предоставил нерях,

считающихся моими женами, самим себе: пусть живут, как им вздумается, сварливые строптивницы, а я обязан лишь кормить их, и только. Я никогда не желал подобного брака, и даже если бы имел досуг, не стал бы жить по брачным законам мормонов. Нет, сударыня, старинная моя подруга, – и с этими словами доктор поднялся с места и не без галантности поклонился, – вам незачем опасаться каких-либо дерзостей с моей стороны. Напротив, я с радостью замечаю в вас истинно римский несгибаемый дух, и если я вынужден просить вас немедленно последовать за мной, покоряясь не моему желанию, а полученным мной приказам, то надеюсь, вы не станете противиться.

Затем, велев нам облачиться в дорожное платье, он взял лампу, освещавшую веранду (ведь уже стемнело), и отправился в конюшню седлать нам лошадей.

– Что все это значит? Что станет с нами? – заплакала я.

– По крайней мере, не самое страшное, – содрогаясь, отвечала моя мать. – В этом мы можем ему доверять. Мне кажется, я иногда различаю в его словах какую-то, пусть и печальную, тень надежды. Асенефа, если я оставлю тебя, если я умру, ты же не забудешь своих несчастных родителей?

Тут мы залепетали наперебой, каждая о своем: я заклинала ее объяснить мне, что она имела в виду, а она, не отвечая на мои вопросы, продолжала уверять меня, что доктор нам друг.

– Доктор?! – наконец вскрикнула я. – Человек, который убил моего отца?

– Нет, – возразила она, – будем справедливы. Господь мне свидетель, я искренне верю, что он сыграл в судьбе твоего отца роль самую милосердную и сострадательную. И только он, Асенефа, способен защитить тебя в этом царстве смерти.

Тут вернулся доктор, ведя на поводу двух лошадей, а когда мы вскочили в седло, он велел мне ехать впереди, держась чуть поодаль, ибо хотел обсудить кое-что с миссис Фонбланк. Они пустили коней шагом и принялись нетерпеливо и страстно переговариваться шепотом, а когда вскоре затем взошла луна, я увидела, как они напряженно вглядываются в лицо друг другу, как мать моя кладет руку на плечо доктору, а сам доктор, вопреки всегдашней привычке, сопровождает свою речь энергичными жестами, то ли решительно отрицая что-то, то ли клятвенно заверяя ее в чем-то.

У подножия горы, по склону которой верховая тропа пролегала до самой его двери, доктор догнал меня рысью.

– Здесь мы спешимся, – объявил он, – а поскольку мать ваша хочет побыть в одиночестве, дальше мы с вами вместе пойдем к моему дому.

– Я еще увижу ее? – спросила я.

– Даю вам слово, – пообещал он, помогая мне спрыгнуть с лошади. – Коней мы оставим здесь, – добавил он. – Воров в этой глуши не водится.

Тропа шла в гору плавно, и мы не теряли дом из виду. Окна его снова ярко горели, труба опять изрыгала дым; однако окрест царило совершенное, полное безмолвие, и я была уверена, что, кроме моей матери, очень медленно шедшей за нами следом, поблизости на целые мили нет ни души. При мысли об этом я взглянула на доктора, с мрачным видом шагнувшего рядом, сгорбленного и седого, а затем опять на его дом, ярко освещенный и извергающий дым, подобно неутомимо работающему заводу. И тут, не в силах одолеть любопытство, я не удержалась и воскликнула:

– Ради бога, скажите, что вы делаете в этой страшной пустыне?

Он со странной улыбкой взглянул на меня и отвечал уклончиво:

– Вы не в первый раз видите, как горят мои печи. Однажды ранним утром я заметил, как вы проезжаете мимо моего дома; сложный и рискованный эксперимент не удался, и я не ищу себе оправдания за то, что испугал тогда вашего кучера и вашу лошадь.

– Как! – воскликнула я, и перед моим внутренним взором живо предстала маленькая фигурка, подпрыгивающая и катающаяся по земле. – Выходит, это были вы?

– Да, – подтвердил он. – Но не думайте, что мною овладело тогда безумие. Я испытывал невыносимую боль, получив сильные ожоги.

Мы уже подошли к его дому, который, в отличие от большинства зданий в этой местности, был возведен из обтесанного камня и выглядел на редкость прочным. Выстроен он был на каменном фундаменте и упирался в каменную скалу. Ни одна травинка не пробивалась из трещин в его стенах, ни один цветок не радовал взгляд на его окнах. Над дверью в качестве единственного украшения взирало на входящих грубо вырубленное мормонское отверстие око; я привыкла видеть этот символ повсюду с раннего детства, но с той самой ночи, когда мы предприняли неудачную попытку к бегству, оно обрело в моих глазах новый, мрачный, зловещий смысл, и при виде его я невольно содрогнулась. Из трубы валили густые облака дыма, края их алели в отблесках пламени, а от дальнего угла дома, почти от самой земли, вздымались клубы раскаленного пара; белоснежные, взлетали они к луне и рассеивались без следа.

Доктор распахнул передо мною дверь, остановился на пороге и произнес:

– Вы спрашивали, что я здесь делаю? Здесь я всецело подчиняю себе Жизнь и Смерть.

И он поманил меня, приглашая войти.

– Я подожду мать, – сказала я.

– Дитя, – отвечал он, – поглядите на меня: разве я не стар и дряхл? Кто же из нас сильнее, юная девица или иссохший старик?

Я повиновалась и, пройдя мимо него, оказалась в холле или в кухне, освещенной весело горящим огнем и настольной лампой под абажуром. Всю ее обстановку составляли кухонный шкаф для посуды, грубо сколоченный стол и несколько деревянных скамей; на одну из них доктор жестом велел мне сесть и, пройдя через другую дверь, исчез где-то в комнатах, оставив меня в одиночестве. Вскоре откуда-то из глубины дома донесся металлический скрежет, сменившийся тем самым «биением сердца», которое некогда испугало меня в долине, но теперь оно раздавалось так близко, что едва ли не оглушало, а от его равномерных, грозных ударов пол словно сотрясался под ногами. Не успела я унять охватившую меня тревогу, как вернулся доктор, и почти в ту же минуту на пороге появилась моя мать. Но как описать безмятежность и упоение, читавшиеся в ее чертах? Во время этой краткой скачки для нее, казалось, прошли целые годы, чудесным образом вернув ей юность и красоту; глаза ее сияли; улыбка трогала до глубины души; она явилась мне точно уже и не женщиной, а ангелом, исполненным восторженной нежности. Я бросилась было к ней в некоем священном ужасе, но она слегка отпрянула и приложила палец к губам, жестом одновременно лукавым и вместе с тем неземным. Доктору, напротив, она протянула руку как другу и помощнику, и вся эта сцена столь потрясла меня, что я даже забыла обидеться.

– Люси, – сказал доктор, – все готово. Вы пойдете одна или ваша дочь будет сопровождать нас?

– Пусть Асенефа пойдет со мной, – отвечала она. – Милая Асенефа! В час, когда мне предстоит очиститься от всякого страха и скорби, забыть саму себя и все мои земные привязанности и склонности, я желаю быть рядом с нею, но не ради себя, а ради вас. Если же не допустить ее ко мне, то, боюсь, она превратно истолкует вашу доброту.

– Мама! – вне себя вскричала я. – Мама, что все это значит?

Но моя мать, со своей сияющей улыбкой, только проговорила: «Ш-ш-ш, тише!» – словно я вернулась в детство, заболела и мечусь в горячечном бреду, а доктор уговаривает меня успокоиться и более не тревожить ее.

– Вы сделали выбор, – продолжал он, обращаясь к моей матери, – который, как ни странно, нередко испытывал искушение сделать я. Вечно был я одержим двумя крайностями: все или ничего, никогда или сию же минуту – вот какие несовместимые желания меня терзали. Но избрать компромисс, удовлетвориться полумерой, тускло померцать немного и потухнуть – нет, такие помыслы никогда, с самого рождения, не могли утолить мое честолюбие.

Он пристально посмотрел на мою мать, с восхищением и не без зависти во взгляде, а потом, глубоко вздохнув, повел нас во внутреннюю комнату.

Она была очень длинна. От одного конца до другого кабинет этот освещали множество ламп, как я догадалась по их разноцветному свету и непрерывному потрескиванию, с которым они горели, электрических. В дальнем конце кабинета за открытой дверью виднелся вход в пристройку, род сарая, прилаженного возле печной трубы, и был он, в отличие от кабинета, освещен красными отблесками, падающими словно бы от печных заслонок. Вдоль стен стояли полки с книгами и застекленные шкафы, на столах громоздились приборы, потребные для химических исследований, в свете ламп поблескивали большие стеклянные аккумуляторные батареи, а через отверстие в коньке крыши возле двери в сарай внутрь был пропущен массивный приводной ремень, он двигался под потолком на стальных шкивах, медлительно и неуклюже, то и дело подрагивая, сотрясаясь и оглашая кабинет жутковатыми звуками. В одном углу я заметила стул, установленный на хрустальных ножках и обвитый проволокой, что показалось мне очень странным. К нему-то моя мать и проследовала быстрым, решительным шагом.

– Это он? – спросила я.

Доктор молча склонил голову.

– Асенефа, – произнесла моя мать, – завершая в скорби свой земной путь, я обрела одного заступника. Погляди на него, вот он: это доктор Грирсон. О дочь моя, будь благодарна нашему другу!

Она села на стул и обхватила руками шары, которыми заканчивались подлокотники.

– Я все делаю правильно? – спросила она, посмотрев на доктора таким сияющим взглядом, что меня невольно охватил страх за ее рассудок. Доктор еще раз кивнул, но на сей раз прильнув к стене. Вероятно, он дотронулся до какой-то тайной пружины. Едва заметная дрожь пробежала по телу моей матери, покойно сидевшей на стуле, черты ее на мгновение едва заметно исказились, и она откинулась на спинку, словно отдаваясь наконец усталости. Я тотчас же бросилась к ней, прикинув к ее коленям, но руки ее, когда я захотела прикоснуться к ним, бесильно упали; лицо ее все еще освещалось трогательной улыбкой, но голова опустилась на грудь; душа ее покинула тело.

Не помню, сколько прошло времени, прежде чем, подняв на миг заплаканное лицо, я встретила глазами с доктором. Он устремил на меня взор столь испытующий, столь жалостливый, столь сострадательный, что, даже всецело поглощенная своим горем, я была поражена и невольно сосредоточила на нем внимание.

– Довольно предаваться скорби, – велел он. – Ваша мать отправилась на смерть, словно на брачный пир, и умерла там же, где и ее муж. Но теперь, Асенефа, пора подумать о живых. Идите за мной в соседнюю комнату.

Я последовала за ним точно во сне; он усадил меня у огня, дал мне вина, а потом, расхаживая туда-сюда по каменному полу, обратился ко мне со следующей речью:

– Теперь вы, дитя мое, остались одна на свете, да к тому же под непосредственной опекой Бригема Янга. В обычных обстоятельствах вам было бы суждено сделаться пятидесятой женой какого-нибудь гнусного старейшины или, если бы вам, по представлениям этой земли, особенно посчастливилось, обратить на себя взор самого президента. Такая участь для девицы вроде вас горше смерти; уж лучше умереть, как умерла ваша мать, чем с каждым днем все глубже погружаться в бездну низости и отчаяния, уготованную любой мормонской женщине, которая с рождения обречена постепенно и неумолимо утрачивать все лучшие свои качества. Но нельзя ли вырваться отсюда? Ваш отец попытался было, и вы сами видели, сколь уверенно действовали его тюремщики и сколь бдительным стражем стал на его пути к свободе рисунок, бегло начертанный на камне, неодушевленный предмет, которого одного довольно было, чтобы вселить в вашего отца смертельный страх и заставить отказаться от его намерения. Там, где

потерпел неудачу ваш отец, поступите ли вы мудрее, окажетесь ли вы счастливее? Или вы тоже смиритесь с тем, что усилия ваши бесплодны?

Я следила за его речами, охватываемая попеременно самыми разными чувствами, но наконец, кажется, осознала, к чему он клонит.

– Я поняла! – воскликнула я. – Вы справедливо обо мне судили. Я должна последовать примеру своих родителей, и я не просто хочу поступить, как они, я жажду!

– Нет, – отвечал доктор. – Не стоит приговаривать себя к смерти. Мы можем разбить треснувший сосуд, но сосуд совершенный сбережем. Нет, не такую надежду лелеяла ваша мать, и я вместе с нею. Я вижу, – воскликнул он, – как девица окончательно превращается в женщину, как все ее задатки развиваются, как, подающая большие надежды, она превосходит все ожидания! Разве осмелился бы я задержать рост создания столь чудесного? Это ваша мать предложила, – добавил он уже иным тоном, – чтобы я сам на вас женился.

Боюсь, что на лице моем при одной мысли об уготованной мне судьбе изобразился настоящий ужас, потому что он поспешил меня успокоить:

– Не тревожьтесь, Асенефа. Как бы стар я ни был, я помню бурные фантазии юности, – уверил он меня. – Я прожил жизнь в лабораториях, но за бессонным бдением возле колб и реторт не забыл, как бьется молодое сердце. Старость смиренно просит избавить ее от невыносимых мук; юность, схватив удачу за косы, требует радости, положенной ей по праву. У меня еще живы в памяти блаженства молодости; нет никого, кто бы острее чувствовал их, кто бы завистливее наблюдал, как им предаются другие. Я лишь дал себе зарок не уступать своим желаниям до сего дня. Что же, подумайте: вы остались без всякой помощи и поддержки, единственный друг ваш – этот пожилой исследователь, наделенный хитроумием, коварством и изворотливостью старика, но сострадательностью и чувствительностью юноши. Ответьте мне на один только вопрос: избежали ли вы теней, которых мир именует любовью? Свободно ли ваше сердце, вольны ли вы еще в своих желаниях? Или ваши очи и слух ваш уже пребывают в сладком рабстве?

Я отвечала ему сбивчиво, вероятно сказав, что сердце мое успокоилось в могиле вместе с моими родителями.

– Довольно, – остановил он меня. – Часто, слишком часто судьба судила мне исполнять те обязанности, о которых мы говорили сегодня; никто в Юте не мог справиться с ними столь образцово, и потому я стал пользоваться определенным влиянием, которое сейчас отдаю всецело в ваше распоряжение, отчасти в память моих покойных друзей, ваших родителей, отчасти ради вас самих, ибо я испытываю к вам искреннее сочувствие. Я пошлю вас в Англию, в великий город Лондон, где вам предстоит ожидать жениха, которого я избрал для вас. Это будет мой сын, молодой человек, подходящий вам летами и не обойденный той пригожестью, какой требует ваша юность. Поскольку сердце ваше свободно, вы можете дать мне единственное обещание, что я вправе потребовать в обмен на большие расходы и еще больший риск, которому я себя подвергаю, оказывая вам помощь: обещайте же мне ожидать прибытия жениха со всей благопристойностью и тактом жены.

Какое-то время я сидела потрясенная, не произнося ни слова. Я вспомнила доходившие до меня слухи о том, что ни один из браков доктора не был благословлен детьми, и, озадаченная, тем более предалась горю. Впрочем, как он сказал, я осталась одна в царстве мрака, и довольно было всего лишь мысли о бегстве, о браке с равным мне, чтобы во мне затеплилась слабая надежда, и, сама не помню, в каких именно выражениях, я приняла его замысел.

Казалось, мое согласие тронуло его более, чем я могла ожидать. «Сейчас увидите, – воскликнул он, – сейчас увидите и сами убедитесь, что сделали правильный выбор». Поспешив в соседнюю комнату, он вернулся с небольшим, весьма неумело выполненным портретом, написанным маслом. Он изображал мужчину, одетого по моде сорокалетней давности: молодого, но вполне узнаваемого доктора.

– Нравится? – спросил он. – Это сам я в юности. Мой... мой мальчик будет похож на меня, но благороднее, здоровью его, снизойдя до смертного, могут позавидовать ангелы, а каким умом он наделен, Асенефа, могучим и властительным умом! Такого, мне кажется, не сыскать и одного на десять тысяч. Такой человек, сочетающий юношеские страсти со сдержанностью, силой, достоинством зрелости, обладающий несметными умениями и способностями, готовый занять любой пост и взять на себя любую ответственность, воплощение всех возможных достоинств, – скажите мне, разве он не удовлетворяет требованиям честолюбивой девицы? Скажите, разве этого не достаточно?

И он поднес портрет к самому моему лицу дрожащей рукой.

Я коротко сказала, что лучшего не смею и желать, ведь это проявление отцовских чувств глубоко потрясло меня, но слова благодарности еще не замерли у меня на устах, как я преисполнилась самого дерзкого, мятежного духа. Все внушало мне отвращение и ужас: он, его портрет, его сын, – и если бы у меня оставался какой-то выбор, кроме смерти и мормонского брака, то, клянусь Богом, я приняла бы его, не колеблясь.

– Что ж, хорошо, – отвечал он, – выходит, я не ошибся, рассчитывая на вашу смелость и решительность. Теперь поешьте, ибо вам предстоит долгий путь.

Тут он поставил передо мною кушанье и, пока я пыталась повиноваться, вышел из комнаты и вернулся, неся охапку какой-то грубой одежды.

– Вот, – сказал он, – облачитесь в это, и вас никто не узнает. Оставляю вас на время.

Одежда эта, возможно, принадлежала полноватому недорослю лет пятнадцати, а на мне повисла мешком, жестоко стесняя движения. Однако поистине неудержимый трепет охватывал меня при мысли о том, откуда взялись эти вещи и какая судьба постигла юношу, который носил их. Не успела я переодеться, как вернулся доктор, открыл заднее окно, помог мне вылезти в узкий проем между стеной и нависающими над домом утесами и показал лестницу из стальных скобок, вставленных в выдолбленные в камне отверстия. «Поднимайтесь не мешкая, – велел он. – Когда доберетесь доверху, идите, как можно дольше оставаясь под сенью дыма. В конце концов дым приведет вас в каньон, спуститесь туда, и на дне его вас будет ждать человек с двумя лошадьми. Ему вы будете повиноваться беспрекословно. И помните, храните молчание! Одно неверное слово, и механизм, который я запустил, чтобы помочь вам, будет обращен против вас. Идите же, и да призрят на вас Небеса!»

Наверх я поднялась легко. Выбравшись на скалу, я увидела, что другой ее склон, высокий, но покатый и голый, плавно спускается вниз, залитый лунным светом и отчетливо различимый со всех окрестных гор. На нем не сыскать было ни складки, ни трещины, чтобы обозреть местность или спрятаться, и, зная, что эти пустынные края кишат шпионами, я поспешила укрыться под гонимыми ночным ветром клубами дыма и двигалась дальше под их защитой. Иногда дым возносился прямо к небесам, подхваченный особенно сильным порывом ветра, и тогда самым плотным и надежным моим покровом оставалась тень, которую дым отбрасывал в лунном свете; иногда он, напротив, полз, стелясь по земле, и я шла, погрузившись лишь по плечи в его толщу, словно в горный туман. Однако, как бы то ни было, дым, извергаемый этой зловещей печью, защитил меня в начале моего пути к бегству и незаметно для соглядатаев привел меня в каньон.

Здесь, как и было обещано, я обнаружила мрачного, безмолвного человека возле пары верховых лошадей; мы немедленно вскочили в седло и всю ночь, не проронив ни слова, ехали по самым тайным и опасным горным тропам. Перед рассветом мы нашли приют в сырой, продуваемой ветром пещере на дне узкого ущелья, весь день укрывались в ней, а следующей ночью, не успела багровая заря погаснуть на западе, возобновили свое странствие. Около полудня мы снова остановились, на лужайке у маленькой речки, где кусты защищали нас от посторонних взоров, и здесь мой проводник, передав сверток из своей седельной сумы, приказал мне снова переодеться. В свертке я нашла свою собственную одежду, взятую у нас из дому, а

также такие предметы первой необходимости, как гребень и мыло. Я совершила свой туалет, глядясь, словно в зеркало, в тихую речную заводь, и, когда я прихорашивалась и не без удовольствия улыбалась, видя себя в своем привычном облике, горы огласились чудовищным, пронзительным криком, издать который не под силу было человеку, а едва я замерла, вне себя от страха, крик сменился ужасным, сотрясающим землю грохотом, усиливающимся с каждой секундой и наконец переросшим в настоящую бурю. Признаться ли вам, что я с криком упала ниц? Однако, как потом оказалось, это всего лишь промчался мимо, петляя меж близлежащих гор, пассажирский поезд, мой будущий спаситель, могучие крылья, которым предстояло унести меня из Юты!

Когда я переделалась в собственное платье, мой проводник вручил мне сумку, в которой, по его словам, лежали деньги и бумаги, и, сообщив, что я уже пересекла границу штата и нахожусь на территории Вайоминга, велел мне идти вдоль русла ручья, пока не доберусь до железнодорожного вокзала, в полумиле по течению. «Вот, – добавил он, – билет до города Каунсил-Блафс. Восточный экспресс пройдет здесь через несколько часов». Тут он взял обеих лошадей и, не произнеся более ни слова и не попрощавшись, ускорил тем же путем, что мы сюда приехали.

Три часа спустя я сидела на задней площадке вагона в поезде, который несся на восток по узким ущельям и с рокотом прокатывался по прорубленным в горах туннелям. Новые, незнакомые доселе пейзажи, мелькающие перед глазами, радость оттого, что бегство мое, кажется, удалось, и омрачающий ее страх погони, но прежде всего новое, удивительное, волшебное средство передвижения – все это не давало мне мыслить логически и вместе с тем отвлекало от горя. Две ночи тому назад я вошла в дом доктора, готовясь к смерти, готовясь даже к худшей судьбе; произошедшие затем события хотя и были ужасны, казались едва ли не радужными по сравнению с моими предчувствиями, и, только проспав целую ночь в вагоне люкс, я проснулась с ощущением невосполнимой утраты и оправданной тревоги по поводу своего будущего. В таком настроении я обследовала содержимое своей сумки. В ней нашлась немалая сумма денег, билеты, подробные указания, как добраться до Ливерпуля, и длинное письмо от доктора, в котором он сообщал мое вымышленное имя и излагал мою вымышленную биографию, советовал мне соблюдать строжайшее молчание и наказывал дожидаться его сына, храня верность избраннику. Все это было обдумано заранее; он рассчитывал на мое согласие и, что было в тысячу раз хуже, на добровольную смерть моей матери. Ужас при мысли о том, каков на самом деле мой единственный друг, отвращение к его сыну – моему будущему супругу, негодование, которое вызывал у меня весь ход и все условия моей жизни, теперь достигли предела. Я замерла, оцепенев от горя и беспомощности, как вдруг, к моей немалой радости, со мной заговорила очень милая леди. Желая отвлечься от грустных дум, подобно тому, как утопающий хватается за соломинку, я тут же принялась бойко и гладко передавать историю своей жизни, изложенную в письме доктора: так и так, я мисс Гулд из Невада-Сити, еду в Англию к дяде, денег у меня с собой столько-то и столько-то, я из такой-то и такой-то семьи, мне столько-то и столько-то лет и далее в таком же духе, пока не исчерпала содержание своих инструкций, а поскольку дама продолжала забрасывать меня вопросами, начала придумывать и свои рассказы, расцвечивая и приукрашивая их как могла. Вскоре я по неопытности совсем завралась, запуталась и уже заметила, как по лицу дамы пробежала тревожная тень, и вдруг рядом со мной вырос какой-то джентльмен и очень вежливо обратился ко мне:

– Полагаю, вы мисс Гулд? – спросил он и затем, попросив извинения у моей собеседницы за то, что вмешивается в наш разговор на правах моего опекуна, отвел меня на переднюю площадку пульмановского вагона.

– Мисс Гулд, – сказал он мне на ухо, – неужели вы думаете, что пребываете в безопасности? В таком случае я вас совершенно разочарую. Еще один неблагоразумный, неосторожный шаг, и вы вернетесь в Юту. А тем временем, если эта женщина опять заговорит с вами,

отвечайте: «Мадам, вы мне не симпатичны, и я буду очень обязана вам, если вы позволите мне самой выбирать круг общения».

Увы, мне пришлось поступить, как было мне приказано; эту леди, к которой я уже чувствовала самое сильное расположение, я оттолкнула от себя, прибегнув к оскорблениям, и после того весь день просидела, глядя на мелькающие за окном пустынные равнины и глотая слезы. Скажу только, что именно по такой схеме протекало отныне мое путешествие. Стоило мне, будь то в поезде, в отеле или на борту океанского парохода, обменяться двумя-тремя дружескими словами с попутчиком, как меня тотчас же прерывали. Где бы я ни оказалась, человек, в котором я ни за что бы не заподозрила соглядатая, – мужчина или женщина, богатч или бедняк по виду, – принимался оберегать меня, сопровождая в моем странствии, или следить за мной, всячески контролируя мое поведение. Так я пересекла Соединенные Штаты, так я пересекла океан, и мормонское отверстое око продолжало неусыпно следить за каждым моим шагом, а когда наконец я вышла из кеба у того лондонского пансиона, из которого я у вас на глазах бежала сегодня утром, я давно перестала бороться и надеяться.

Хозяйка меблированных комнат, как и все остальные, с кем мне приходилось сталкиваться за время путешествия, уже ожидала моего появления. В номере моем, окнами в сад, горел огонь, на столе лежали книги, в ящиках шкапа лежали платья, и в этом пансионе я жила месяц за месяцем, чуть было не сказала довольная судьбой или, по крайней мере, с нею смирившаяся. По временам хозяйка брала меня на прогулку или возила за город, но никогда не разрешала мне одной выходить из дому, а я, понимая, что она тоже живет под сенью зловещей мормонской угрозы, из жалости к ней не осмеливалась сопротивляться. Для ребенка, родившегося на земле мормонов, как и для взрослого, принимающего на себя обязанности, налагаемые членством в тайном ордене, бегство невозможно; это я уже отчетливо осознала и испытывала благодарность даже за эту передышку. Тем временем я честно пыталась мысленно смириться с неизбежностью – близящейся свадьбой. Надвигался день, когда меня должен был навестить мой жених, и благодарность и страх в равной мере обязывали меня дать ему согласие. Каков бы ни был сын доктора Грирсона, он наверняка еще молод, а возможно, даже и хорош собой; я чувствовала, что не могу рассчитывать на большее, и, приучая себя к мысли, что не вправе ему отказать, старалась чаще воображать его физическую привлекательность, которой он вполне мог быть наделен, и, напротив, не думать о его нравственных и интеллектуальных качествах. Мы имеем великую власть над собственным духом, и со временем я не только свыклась с уготованной мне участью, но и даже стала с нетерпением ожидать назначенного часа. По ночам сон не приходил ко мне; весь день я просиживала у огня, погруженная в мечты, воображая черты своего будущего супруга и предчувствуя прикосновение его руки и звук его голоса. В моем унынии и одиночестве эти грезы остались для меня единственным окном, выходящим на восток и окрашиваемым утренней зарей, и единственной дверью, в которую могла войти надежда. В конце концов я столь подчинила себе и подготовила свою волю, что меня стали одолевает страхи иного рода. Что, если это я не придусь ему по вкусу? Если это мой еще неведомый нареченный с презрением от меня отвернется? И теперь я часами гляделась в зеркало, изучая и оценивая свою внешность, без конца меняя платья и по-разному убирая волосы.

Когда настал долгожданный день, я много часов провела за туалетом, но наконец, охваченная отчаянием, но не вовсе оставленная надеждой, принуждена была признать, что ничего не могу более сделать и что сумею я пригляднуться нареченному или нет, уже во власти одной лишь судьбы. Завершив свои приготовления, я сделалась жертвой самого мучительного нетерпения, подогреваемого тревогой; я прислушивалась ко все усиливающемуся уличному шуму, при каждом громком звуке или, наоборот, во внезапно наступившей тишине вздрагивая, сжимаясь в комочек и краснея до корней волос. Знаю, нельзя влюбиться заочно, не будучи хоть сколько-то знакомой с предметом страсти, и все же, когда кеб подкатил к дверям и я услышала, как мой жених поднимается по ступенькам, в моей бедной душе разыгралась буря безумных

чувств, породить которые под силу одной лишь любви. Распахнулась дверь, и на порог ступил доктор Грирсон. Мне кажется, я громко вскрикнула и в глубоком обмороке упала наземь.

Когда я пришла в себя, он стоял надо мной, считая мой пульс. «Я испугал вас, – произнес он. – Я не сумел получить некое зелье, потребное только в чистом, беспримесном виде, и эта непредвиденная трудность вынудила меня отправиться в Лондон неподготовленным. Сожалею, что вновь показался вам, не придав себе того привлекательного, хотя, в сущности, жалкого облика, что, судя по всему, столь много значит для вас, но в моих глазах важного не более чем дождь, изливающийся над морем. Юность – всего лишь временное, мимолетное состояние, проходящее так же быстро, как тот обморок, от которого вы только что очнулись, и, если наука способна открыть нам истину, с такой же легкостью возвращающееся по нашему зову, ведь я понял, Асенефа, что должен сейчас посвятить вас в тайны, ведомые одному мне. Много лет тому назад я подчинил каждый миг своей жизни, каждое свое деяние единственной, огромной, честолюбивой цели, и вот приблизилось время моего триумфа. В недавно открытых странах, где я заставил себя прожить столь долго, я собирал необходимые составляющие своих зелий и снадобий; я проверял и перепроверял каждый свой научный вывод, не допуская даже мысли об ошибке; мечта теперь облекается реальностью и наконец осуществляется, а предложив вам в мужья своего сына, я выражался фигурально. Этот сын, ваш будущий муж, Асенефа, – я сам, не такой, каким я сейчас предстал перед вами, а возрожденный во всем блеске, силе и обаянии юности. Думаете, я обезумел? Так обыкновенно судят одни лишь невежды. Не стану спорить, пусть за меня говорят факты. Когда вы узрите меня обновленным, очистившимся от скверны прожитых лет, вновь преисполнившимся сил, воскресшим в первоначальном образе, когда вы узнаете во мне первое, совершенное и истинное воплощение человеческого могущества, – вот тогда-то я с бóльшим правом посмеюсь над вашим недолгим, вполне естественным недоверием. Можете ли вы пожелать хоть чего-то: славы, богатства, власти, очарования юности, купленной дорогой ценой мудрости зрелых лет, – чем я не сумею одарить вас в полной мере? Не обманывайтесь. Я уже обладаю всеми совершенными дарами, какими только может быть наделен человек, кроме одного: когда и этот дар будет возвращен мне, вы признаете во мне своего повелителя».

Тут он бросил взгляд на часы и объявил, что пока оставляет меня в одиночестве, а потом, посоветовав мне внимать голосу разума, а не девических фантазий, удалился. У меня недоставало присутствия духа пошевелиться; наступил вечер, а я все сидела и сидела на том месте, где упала, лишившись чувств, сидела, закрыв лицо руками, охваченная самыми мрачными страхами. Ближе к ночи он вернулся со свечой в руках и прерывающимся от гнева голосом велел мне встать и отужинать вместе с ним.

– Неужели я обманулся, приписав вам храбрость, которой вы на самом деле лишены? – добавил он. – Трусливая девчонка не годится мне в жены!

Я бросилась перед ним на колени и, обливаясь слезами, умоляла расторгнуть нашу помолвку, уверяя его, что ужасно труслива и что, жалкое, ничтожное создание, безнадежно уступаю ему и умом, и силой характера.

– К чему это, – отвечал он, – я знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя, и достаточно разбираюсь в человеческой природе, чтобы понять, зачем вы разыграли эту сцену. Сейчас ваши мольбы были обращены к моей прежней, еще не возродившейся заново ипостаси. Но не тревожьтесь о будущем. Дайте мне лишь достичь моей цели, и не только вы, Асенефа, но и все женщины, сколько их ни есть на земле, рады будут сделаться моими покорными рабынями.

С этими словами он приказал мне встать и отужинать вместе с ним, сел со мною за стол, угощал и забавлял меня, осыпая знаками внимания, как пристало принимать гостей человеку светскому; и только в поздний час, вежливо пожелав мне спокойной ночи, он снова оставил меня одну на милость горести и отчаяния.

Перебирая в памяти его разглагольствования о чудодейственном эликсире и возвращенной юности, я не могла решить, какая из двух догадок мне более отвратительна и ненавистна. Если надежды его основаны на неких научных фактах, если, сотворив какое-то гнусное колдовство, он и в самом деле вернет себе молодость, то смерть станет для меня единственным спасением от этого противоестественного, богопротивного союза. С другой стороны, если его мечты всего-навсего порождены безумием, если в них достигло апогея овладевшее им помешательство длиною в жизнь, то жалость к нему сделается для меня бременем столь же невыносимым, сколь и бунт против навязываемого мне брака. Так прошла ночь: страстная непокорность сменялась в душе моей отчаянием, ненависть – жалостью, а на следующее утро я тем более полно осознала свое рабское положение. Ибо, хотя доктор и предстал передо мной с самым безмятежным видом, едва он заметил на челе моем следы, оставленные горем и скорбью, как в свою очередь помрачнел и нахмурился. «Асенефа, – произнес он, – вы и так уже многим мне обязаны, если я пожелаю, по одному знаку моего перста вы умрете; жизнь моя полна трудов и забот, и я повелеваю вам, – тут он возвысил голос, давая понять, что не потерпит возражений, – встречать меня с выражением веселья и радости на лице». Ему не пришлось повторять свой приказ: с того дня я неизменно, стоило мне его завидеть, притворялась ласковой и умильной, а он вознаграждал меня, подолгу пребывая в моем обществе и посвящая меня в свои тайны больше, чем я могла вынести. В задних комнатах дома он устроил лабораторию, где день и ночь трудился над получением своего эликсира, и откуда приходил навестить меня в гостиную: иногда пребывая в унынии, иногда, и значительно чаще, сияя от радости. Нельзя было не заметить, что жизнь его иссякает, как песок в часах, однако он постоянно рисовал передо мною величественные картины будущего и с самоуверенностью юности излагал почти беспредельные по своим масштабам, честолюбивые, тешащие его тщеславие замыслы. Уж и не помню, как я ему отвечала, но в ответ произносила какие-то слова, хотя при одном звуке его голоса меня начинали душить слезы и ярость.

Неделю тому назад доктор вошел ко мне в комнату, и было заметно, что радостное волнение борется в нем с удручающей телесной слабостью. «Асенефа, – сказал он, – сейчас я получил последнюю составляющую своего снадобья. Ровно через неделю наступит миг последней проекции¹², когда решится моя судьба. Однажды из-за вашего, пусть и неумышленного, вмешательства подобный эксперимент уже потерпел неудачу. Я говорю об ужасном взрыве эликсира, случившемся той ночью, когда вы проезжали мимо моего дома, и неразумно было бы отрицать, что проведение столь сложного опыта в таком огромном городе, где все бесконечно дрожит, сотрясается, срывается со своих мест, сопряжено с немалой долей опасности. С этой точки зрения я не могу не сожалеть об уединенности и тишине, окружавшей мой дом в американской глуши, но, с другой стороны, я успешно доказал, что чрезвычайно хрупкое равновесие, в коем пребывают компоненты эликсира в момент проекции, есть следствие скорее недостаточной чистоты его ингредиентов, чем самой их природы, а поскольку теперь я добился их полной, абсолютной беспримесности, то почти уверен в успехе. Таким образом, дорогая Асенефа, через какую-нибудь неделю эта череда испытаний завершится». И он улыбнулся мне совершенно по-отечески, что было у него не в обычае.

В ответ я улыбнулась ему одними губами, но в сердце моем царил самый кромешный, неукротимый ужас. Что, если опыт ему не удастся? А если, в тысячу раз хуже, он добьется успеха? Какой же отвратительный, противоестественный демон явится передо мною просить моей руки! А что, если, спросила я себя, почувствовав, как холодею и трепещу, он недаром бахвалится, будто с легкостью победит мое сопротивление? Я и вправду знала, как он хитер

¹² Проекция – здесь: последняя стадия алхимического процесса, позволяющая получить золото из низменных металлов или изготовить чудодейственные субстанции; предполагает посыпание неким волшебным порошком расплавленных металлов или кипящих смесей.

и коварен и как виртуозно подчиняет меня себе и своим преступным помыслам. Итак, что, если его эксперимент удастся, что, если он вернется ко мне в ином, юном и благообразном, и оттого тем более гнусном, обличье, подобно сказочному вампиру, что, если затем посредством какого-нибудь сатанинского колдовства... Голова у меня пошла кругом, все прежние страхи забылись, и я почувствовала, что готова предпочесть этой чудовищной судьбе худшее.

Я немедленно принялась искать выход. Присутствия доктора в Лондоне требовали дела мормонского правительства. Часто в беседе со мной он упоенно описывал интриги, происки и козни этой могущественной организации, которой он боялся, даже будучи облеченным ее властью, и часто напоминал мне, что даже в шумном, оживленном лабиринте лондонских улиц за нами неусыпно наблюдает это недреманное око Юты. Доктора и вправду навещали самые разные люди, от миссионера до Ангела Смерти, по-видимому принадлежавшие к разным слоям общества, но все они до этого внушали мне глубочайшее отвращение и тревогу. Я знала, что, если моя тайна дойдет до слуха хоть одного высокопоставленного мормона, меня постигнет страшная участь и я погибну окончательно; однако в своем нынешнем ужасе и отчаянии я обратилась за помощью именно к этим людям. Я подстерегла на лестнице одного из мормонских миссионеров, человека низкого происхождения, но не вовсе разучившегося сострадать чужому несчастью; поведала ему уж и сама не помню какую безумную историю, чтобы объяснить свою мольбу о помощи, и при его посредстве сумела написать родственникам своего отца. Они поверили мне, согласились выволить, и в тот же день я начала готовиться к бегству.

Прошлой ночью я не ложилась спать, ожидая результатов алхимического опыта и собираясь с духом в преддверии худшего. Ночи в это время года и в этих северных широтах коротки, и вскоре в комнату стали пробиваться солнечные лучи. Тишину, царившую в доме и вокруг него, нарушали только звуки, доносившиеся из лаборатории доктора; к ним я прислушивалась с часами в руках, ожидая, когда придет миг моего бегства, одновременно снедаемая беспокойством и тревогой из-за странного эксперимента, который вершился у меня над головой. В самом деле, теперь, когда я могла рассчитывать на защиту и поддержку, я все более проникалась к доктору симпатией, я поймала себя даже на том, что молюсь о ниспослании ему успеха, а когда спустя несколько часов из лаборатории донесся странный, низкий крик, я не могла более сдерживаться, в нетерпении бросилась вверх по лестнице и распахнула дверь.

Доктор стоял посреди комнаты, держа в руке большую, круглую, словно пузырь, колбу из прозрачного стекла, примерно на треть наполненную яркой, янтарного цвета жидкостью. На лице его застыло выражение восторга и благодарности. Увидев меня, он воздел колбу на вытянутой руке. «Победа! – крикнул он. – Победа!» И тут – не знаю, выскользнула ли колба из его дрожащих пальцев или взрыв произошел самопроизвольно, – могу только сказать, что меня отбросило на дверной косяк, а доктора – в угол комнаты, что нас до глубины души потряс тот же взрыв, который так поразил вас на улице, и что за какие-то доли секунды, в мгновение ока, от дела всей его жизни не осталось ничего, кроме осколков разбитого стекла да клубов густого, зловонного дыма, преследовавших меня по пятам, когда я обратилась в бегство.

Дамский угодник (окончание)

Живая манера и драматический тон, в котором леди повествовала о своих злоключениях, искренне взволновали Чаллонера, с трепетом откликавшегося на каждый эпизод. Его фантазия, возможно, далеко не самая живая, восхищалась и сюжетом, и стилем в равной мере, однако рассудительность и природный скептицизм не позволяли ему поверить страдальце. Он только что услышал отличную историю, может быть и правдивую, но лично он в этом сомневался. Мисс Фонбланк была леди, а леди, конечно, вправе отклоняться от истины, но как может джентльмен сказать ей об этом? Постепенно он терял всякую решимость, но вот наконец совершенно пал духом, и еще долго после того, как она умолкла, он сидел, отвернувшись в тревоге, не в силах найти слов, чтобы поблагодарить ее за рассказ. Что и говорить, в голове у него было пусто, им владело только тупое желание убежать. От этого затянувшегося молчания, которое с каждой секундой делалось все более неловким, он очнулся, внезапно услышав смех своей собеседницы. Его самолюбие было задето, он повернулся к ней и посмотрел ей в лицо, их взгляды встретились, и в глазах ее он заметил искорку такого откровенного веселья, что тотчас же успокоился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.